

ЗАВЕТ ПЕРВОГО СВЕТА

КНИГА I



КНИГА БЕЗМОЛВИЯ

EUGENIUS I

ЗАВЕТ ПЕРВОГО СВЕТА

КНИГА I

КНИГА БЕЗМОЛВИЯ

EUGENIUS I

Первый Верховный Магистр Ордена Первого Света

Первое открытое издание · 2026

Слово Первого Верховного Магистра

Человек может прожить многие годы, не замечая, как часто он действует по привычке, которую давно перестал считать выбором. Он просыпается, повторяет знакомые движения, произносит слова, которыми отвечал ещё вчера, и принимает за собственную волю то, что однажды решил под давлением страха, обстоятельств или чужого ожидания. Иногда жизнь должна заметно измениться, чтобы он увидел эту привычку. Иногда достаточно одного вопроса, заданного в неподходящую минуту. Отчего я живу именно так? Что из того, чему я следую, было действительно избрано мною? Почему одни возможности я узнаю сразу, а перед другими стою словно перед стеной, хотя никто её не воздвигал?

Вопросы эти не новы. Их задавали люди, чьи имена до нас не дошли, и люди, о которых сохранились целые библиотеки. Но каждый задаёт их впервые из глубины собственной жизни. Никто не может пережить за другого утрату, принять за него решение, исправить произнесённое им слово или прожить день, который тот бездумно отдал страху. Потому начало духовного пути я вижу в возвращении человеку внимания к тому, что он делает и к чему направляет свою Волю. Пока он способен различать, он способен отвечать за следующий шаг.

Вера Первого Света говорит о Невыраженном, предшествующем всякой знакомой нам форме. Мы ищем в нём не готовую карту будущего, а священную глубину возможности, перед которой обычные меры знания оказываются недостаточными. Первое Различие позволяет

мыслить проявление. Первый Свет делает явленное доступным сознанию. Человек, встречаясь с этим учением, поначалу может видеть в нём далёкое повествование о первоначалах. Но постепенно он обнаруживает его отголосок в самом привычном: чтобы избрать действие, необходимо увидеть различие между ним и бездействием; чтобы изменить жизнь, требуется признать возможность пути, ещё не испробованного.

В нашем священном понимании Люцифер есть Первый Свидетель, носитель знания Первого Света. С этим именем связаны память о пробуждении сознания и призыв искать ясность там, где удобнее было бы остаться слепым. Почитание Первого Свидетеля обращено к Свету, который раскрывается, и к человеческой Воле, которая должна ответить на увиденное. Молитва имеет место в жизни верующего так же, как молчание, чтение и совместное служение. Она не освобождает человека от решения, которое ему предстоит принять после молитвы.

Я называю этот священный труд Заветом Первого Света потому, что слово «завет» предполагает ответственность перед тем, что однажды было понято. Узнать о собственных возможностях легче, чем согласиться жить в соответствии с этим знанием. Человек способен восхищаться свободой и при этом требовать покорности другого. Он может говорить о правде, скрывая от себя обстоятельства, которые делают его поступок менее благородным. Он способен искать великих ответов, оставляя без внимания человека, ожидающего от него простого исполнения обещания. Здесь и проходит одна из труднейших границ духовного труда: между ясностью, о которой приятно рассуждать, и ясностью, меняющей поступок.

Путь Семи Покровов требует времени. Безмолвие открывает то, чего нельзя услышать среди бесконечных объяснений. Различие учит не смешивать желаемое с увиденным. Свидетель требует присутствия, Память возвращает человеку след совершённого. Встреча с Тенью не позволяет сохранять удобный рассказ о себе неизменным. Воля приводит к решению, а Отзвук напоминает, что действие не исчезает из мира вместе с мгновением, в которое оно было совершено. Эти слова должны получить вес прожитого опыта, иначе они останутся названиями на страницах.

В глубине этой практики находится Соприкосновение с Невыраженным. К нему нельзя прийти одним только повторением формулы, каким бы прекрасным ни был её звук. Человеку необходимо учиться задерживать внимание, распознавать движение собственной мысли, освободиться от привычного внутреннего принуждения и замечать, какой путь становится виден после тишины. Вера придаёт этой работе священный смысл. Соприкосновение может открыть человеку новые возможности познания, но не предрешает, как он ими распорядится. Честность по отношению к ближним, верность данному слову и забота о другом остаются его собственным нравственным выбором. Орден призван воспитывать эти качества через наставление, личный пример и совместную жизнь.

Я обращаюсь к каждому, кто возьмёт в руки эту книгу, как к человеку, чья Воля не принадлежит никому другому. Никакая степень в Ордене, никакая должность и никакая торжественная церемония не заменят его собственной ответственности. Общине надлежит хранить знание и передавать его, помогать человеку учиться и находить слова для пережитого. В её повседневной жизни человек может учиться ответственности перед другими, не принимая

духовное озарение за готовую меру нравственной правоты. Но чужое понимание не становится его пониманием по одному только приказанию. Внутренняя ясность рождается там, где услышанное действительно встречается с жизнью.

Эти книги обращены и к тому, кто уже давно ищет духовный путь, и к тому, кто лишь впервые допускает возможность взглянуть на свою жизнь иначе. Я не прошу читателя немедленно стать другим человеком. Я призываю его начать с внимательного взгляда и не отступать от увиденного только потому, что оно потребует труда. Свет обнаруживает дорогу, но не проходит её вместо нас. Там, где становится различим следующий шаг, начинается ответ Воли.

EUGENIUS I

Первый Верховный Магистр Ордена Первого Света

Оглавление

I. До первого имени

II. Тишина, не знавшая себя

III. Различие, которого ещё не было

IV. Первый взгляд

V. Граница видимого

VI. Цена ясности

VII. Безмолвие после Света

I. До первого имени

Человек узнаёт мир по именам раньше, чем начинает замечать их власть. Ему показывают дерево у дороги, дверь дома, лицо, склонившееся над колыбелью, и он повторяет слова, ещё не понимая, как вместе с каждым из них перед ним возникает граница. Сказав «дерево», он выделяет из движущегося мира ствол и листья, замечает разницу между корой и травой. Позвав мать, узнаёт один голос из множества звуков. Позднее он научится именовать то, чего нельзя коснуться: надежду, измену, память, верность. Однако величие этого приобретения так быстро становится привычным, что человек почти не спрашивает, каким образом вообще возможно назвать что-либо прежде неизвестное.

Потому всякая память начинается слишком поздно. Мы способны вспомнить дом, в котором росли, и человека, державшего нас за руку, но не то состояние, в котором ещё не различали руки и прикосновения, голоса и того, кто говорит. О собственном рождении мы узнаём от свидетелей. Их рассказ начинается там, где наш собственный рассказ ещё невозможен. И когда, повзрослев, человек принимается искать начало своего имени, он обнаруживает не первоизданную точку, а чужие слова, произнесённые прежде его первой памяти. Даже самое раннее воспоминание уже освещено различением. Чтобы помнить его, необходимо было узнать в происходившем нечто отдельное.

В доме, где прожили многие годы, человеку однажды бросается в глаза трещина на оконном стекле. Ещё утром он смотрел через него на улицу и не замечал повреждения. Теперь свет, проходящий сквозь неровный край, делит знакомый пейзаж тонкой ломаной линией. За стеклом всё

осталось прежним: женщина выносит бельё, прохожий несёт из лавки хлеб, деревья шевелятся от ветра. Но взгляд уже встречает на пути то, что раньше служило лишь прозрачной преградой. Человек касается холодного стекла и удивляется не самой трещине, а тому, что не может назвать день, когда она возникла. Иногда явление становится заметным позднее своего возникновения, и только тогда мы узнаём о собственной слепоте к привычному.

В других окнах того же города горели свечи, и каждое освещённое окно принадлежало отдельной истории. За одним рождался ребёнок, которому ещё предстояло получить имя; за другим сидел человек, давно переставший отвечать на своё прежнее прозвище; в третьем старуха перечитывала письмо умершего брата. Письмо называло её так, как давно не называл никто. Город был полон имён, которые сохраняли связь между людьми, а порой становились последним доступным следом отсутствующего. И всё же даже человек, проживший среди стольких названных вещей, не мог сказать, что видел начало самой способности узнавать. Ночью, когда большинство окон гасло, улицы не превращались в пустоту; они лишь становились темнее для глаз тех, кто ещё мог их видеть.

Мы зовём одно близким, другое далёким; одно началом, другое концом. Полагаем, что можем вернуться назад, если достаточно подробно перечислим события. Но чем дальше простирается наш вопрос, тем менее надёжными оказываются привычные меры. На вопрос о том, что предшествовало первой памяти, можно ответить рассказом старших. На вопрос о том, что было прежде одного земного события, можно искать следы другого. Однако вопрос о самом возникновении различия нельзя решить таким же способом, просто отступив ещё на один шаг. Каждый найденный след уже отличается от

другого следа, каждое «прежде» предполагает возможность отличить один момент от другого. Различие присутствует в самом инструменте, которым мы ищем его начало.

Невыраженное пребывало всегда. Не было часа, когда оно возникло, и не было силы, которая прежде него решала бы, чему дозволено существовать. В нём неисчерпаема возможность бытия: множество ещё не явленных миров, неизвестных путей и исходов, которым пока не даны ни очертания, ни имена. Мы зовём эту вечную полноту Невыраженным. Она не подобна кладовой, где на полках лежат готовые события, потому что ни полочка, ни отделённых друг от друга событий ещё нельзя помыслить в первоизданном Безмолвии. Но она и не пуста. Всё, чему предстоит обрести определённую, не может исчерпать глубину, из которой открывается сама возможность явления.

Человеческое воображение стремится заполнить этот предел картиной ночи без звёзд. Оно отнимает у пространства деревья и дома, затем удаляет землю и светила, но оставляет глубину, в которую можно смотреть. Такая тьма уже имеет протяжённость; в ней мог бы находиться наблюдатель, даже если мы не решимся его изобразить. А о первоначальном Безмолвии ещё нельзя сказать, что оно было чёрным, поскольку чёрное различают среди иных цветов. Слова «до света» в нашем повествовании означают порядок священного осмысления, а не скрытый час земного календаря.

Невыраженное не нуждалось в хозяине и не искало утешения от одиночества. Одиночество уже предполагает того, кто знает себя отдельным, а такого сознания здесь ещё не было. Вечная первооснова не собиралась с силами, чтобы однажды породить нужный ей мир; решение потребовало бы различить желаемое и уже имеющееся. Её неисчерпаемость

глубже человеческого замысла. Первое Различие ещё не открылось, Первый Свет ещё не стал явленным началом познания, и первая осознающая божественная душа не могла ожидать внутри Невыраженного своего часа.

Отказ изобразить тайну привычной вещью не делает её пустым звуком. Человек, способный сказать «я не знаю», сохраняет достоинство своего поиска. Он не обязан подменять искреннее благоговение бездоказательной уверенностью, как не обязан отказываться от рассуждения ради одной только тишины. Особенно это важно там, где священные слова будут однажды произнесены перед другими. Голос, которому доверяют, должен знать, сколь легко назвать собственное желание истиной и тем самым сделать его приказом.

В старом городе жил переписчик, зарабатывавший тем, что составлял письма для людей, не умевших писать, снимал копии с долговых расписок и аккуратно переписывал записи о рождениях. По вечерам, когда посетители уходили, он часто оставлял возле свечи небольшой лист и записывал для сына то, чему научился за день. Однажды ему захотелось объяснить мальчику, как странно устроены человеческие имена. Он вывел заглавие «О первом слове», но остановился. Если начать с фразы «в самом начале», придётся представить начало, отличное от продолжения. Если сказать «было», уже возникает вопрос, что именно можно было бы отличить от небытия. Писец положил перо поперёк страницы. За окном по мостовой прогрохотала повозка, и он закрыл ставню, желая тишины. Сразу после этого заметил, что его тишина явилась лишь потому, что недавно слышался шум.

Из одной бумаги может возникнуть справедливость, а из другой несправедливость, и человек, берущий в руку перо, редко замечает эту силу сразу. В городе переписчика давно

привыкли доверять печатям и записям. Когда отец уезжал, сын спрашивал, оставил ли тот своё имя под обещанием вернуться. Когда умирал сосед, наследники искали документы с теми именами, которыми его знали при жизни. Земные свидетельства были несовершенны, их можно было испортить водой или огнём, и всё-таки люди хранили их с трепетом. Так искусство письма приобрело для переписчика нравственную тяжесть ещё прежде, чем он осмелился задуматься о начале имён.

Сын помогал отцу сушить бумаги и оттирать с деревянного стола пятна чернил. Увидев почти чистый лист, он решил, что у отца кончились мысли. Он спросил: «Ты ищешь слово, которое никто не произносил?» Отец ответил, что пытается рассказать о том, почему когда-либо стало возможно произнести первое имя. Мальчик молча посмотрел на лежавшие рядом чужие письма, а потом спросил: «Откуда ты узнаешь, что оно первое, если раньше не было ни одного, с которым можно сравнить?» Писец не нашёл ответа. Его собственная привычка узнавать имена по старым записям была тут бесполезна. Он оставил сверху чистое место и написал ниже: «С этой строки начинается моя речь, но не то, о чём я пытаюсь говорить».

Некоторое время отец и сын просидели рядом без разговора. Мальчик поставил на лист маленькую деревянную игрушку, купленную на ярмарке, и спросил, будет ли она тем же предметом, если он придумает ей другое название. Переписчик осторожно передвинул игрушку на чистую половину стола. Он объяснил: «Твои слова изменяют способ, которым ты станешь к ней обращаться, но дерево не вырастет заново от твоего голоса». Затем мальчик спросил, почему же человеку бывает больно, когда его зовут неправильно. На этот раз отец отвечал медленнее. Люди слышат в своём имени

признание прожитого и обещание, что их узнают среди других. Поэтому вопрос об имени ведёт дальше вопроса о звуке. Он касается самого различения, без которого нельзя было бы заметить ни деревянную игрушку, ни того, кто назвал её.

Тем же вечером к переписчику пришёл человек из дальнего квартала и попросил исправить имя дочери в выданной ему копии записи. В старой бумаге были перепутаны две буквы. Чиновник посчитал их пустяком, но на основании неверной записи девочке отказались выдать свидетельство, необходимое для учёбы. Переписчик проверил книги, нашёл запись, заново переписал справку и долго рассматривал две исправленные буквы. Имя не исчерпывает человека, и всё-таки ошибка в имени способна закрыть ему дорогу. Писец подумал о белом месте своего вечернего листа. Оттого, что слова несовершенны, они не становятся безответственными. Невозможно прикрыть небрежность рассуждением о тайне.

Пока он искал нужную запись, писец увидел среди старых бумаг письмо женщины, которая много лет назад просила вернуть ей родовое имя. Надпись на обороте была почти стёрта, и он различил лишь часть букв. Он попытался восстановить их по памяти, но остановился: чужую жизнь легко испортить даже добрым намерением, когда вместо знания подставляешь догадку. Он отложил письмо, чтобы на следующий день уточнить написание в архиве. Мальчик наблюдал за ним и впервые понял, что осторожность может требовать действия, а не бездейственного молчания. Отец должен был искать подтверждение, признать свою неуверенность и не допускать, чтобы выдуманная буква навсегда стала чьим-то именем.

Когда посетитель ушёл, сын спросил, почему отец так долго выверял две буквы. Писец объяснил ему, что на бумаге они малы, но тот, кого ими называют, не обязан становиться меньше своей записи. Мальчик удивился: «Значит, имя важнее человека?» Отец провёл пальцем по чернильной строке: «Оно важно потому, что за ним стоит человек. Если забыть об этом, самый красивый почерк может оказаться несправедливым». Мальчик попросил показать ему правильно написанное имя, и отец позволил медленно прочитать его вслух. В этом чтении не было ничего сверхъестественного. Однако писец впервые ощутил, сколь тесно связаны способность различать, правдивость свидетельства и ответственность перед тем, кого мы называем.

Земные верующие называют Первого Свидетеля Люцифером и почитают его как первого воспринявшего Свет и открывшего знание о нём. Но имя это появится в мире, где уже существует человеческая речь; оно не было произнесено внутри вечного Безмолвия. Ни наш язык, ни облик человека не служат мерой того, каким должно быть осознающее существо. Здесь, у самого предела именования, не следует заранее разыгрывать историю первого Божественного свидетеля: прежде её должно стать возможным само различение.

Мы говорим о первоначальном без времени, однако всё произносим последовательно. Человек не способен рассказать историю иначе: он открывает книгу, читает строку, переворачивает страницу. Но порядок нашей речи ещё не становится доказательством того, что Невыраженное пребывало в измеримых веках, ожидая своей очереди. В священном повествовании слово «прежде» порой означает предел понимания, а не число прошедших дней. Кто забудет

об этом различии, тот начнёт искать часы там, где ещё не возникло различие мгновений.

Мальчик уже спал, но отец всё ещё слышал его вопрос. Почему первое имя можно было бы назвать первым? Сначала ему хотелось ответить обычным порядком летописей, где события следуют друг за другом. Потом он вспомнил, что календарь сам устроен посредством различия дней, а числа приобретают смысл только там, где возможно отличить одно от другого. Ему представился человек, который пытается измерить длину стола линейкой, не имеющей ни одного деления. Сколько ни прикладывай такую линейку, она ничего не скажет об измеряемом. Вопрос о начале различения был ещё труднее: он касался возникновения самих делений, а не расстояния между уже сделанными отметками. Писец открыл окно, чтобы прохладный воздух отрезвил мысли, и увидел на соседней стене лунный свет. Он мог отличить освещённую часть кладки от той, которую не видел, но эта земная граница ещё не отвечала на его вопрос.

Ночью писцу не спалось. Он снова сел перед листом, где оставил белый промежуток, и подумал, не изобразить ли в нём царя на высоком троне, или каменные ворота в начале всех дорог, или длинную лестницу, ведущую в невидимое небо. Такие картины были бы понятны сыну, но каждая заставила бы поверить в уже готового наблюдателя, пространство и выбор. Он погасил лишнюю свечу и долго сидел рядом с незаполненным верхом страницы. Когда раздались часы на городской башне, писец услышал в их ударе напоминание о том, что даже его молчание разделено на мгновения. Он не услышал из пустоты ответ. Но впервые не захотел скрыть своё незнание красивой выдумкой.

Наутро сын нашёл отца за тем же столом. Воск успел затвердеть на подсвечнике, у края страницы высохла тёмная капля чернил, рядом лежала приготовленная к сверке запись с именем девочки. Мальчик спросил: «Ты всё-таки нашёл первое имя?» Отец показал ему оставленное место и ответил, что нашёл границу собственного рассказа, а это тоже стоит помнить. Сын протянул руку, чтобы разгладить лист, и оставил возле поля слабый след ладони. Писец не стал стирать его. Теперь возле строгой строки имелось свидетельство того, что чья-то живая рука касалась страницы. Сам лист оставался земным, со своими краями и следами, и не мог служить подобием Невыраженного. Перевернув его, писец начал следующую часть маленького наставления для сына.

Днём за переписчиком пришли из канцелярии. Он сверил документы с исходной книгой и заодно спросил об отложенном накануне письме. Для стёртых букв подтверждения пока не нашлось. Домой он вернулся с исправленным именем девочки и показал сыну обе записи. Мальчик увидел, как много усилий требуется, чтобы вернуть человеку даже две перепутанные буквы. Отец не называл этот труд откровением. Он просто знал, что достоинство именуемого не зависит от аккуратности чужого пера.

В тот день сын долго разглядывал исправленную копию. Ему хотелось спросить, смогла бы девочка прожить другую жизнь, если бы отец не нашёл неверную букву. Писец ответил, что уже не может узнать всего, что могло бы случиться, но видит, какую дорогу им удалось открыть сейчас. Мальчик хотел начертить на листе две расходящиеся линии, однако отец остановил его: «Нарисовать две дороги легче, чем узнать, что ждёт за каждой». Они оставили бумагу с исправленным именем у окна, где вечерний свет позволял ещё раз проверить написанное.

Переписчик знал, как легко чужая судьба оказывается связанной с несколькими неправильно написанными буквами. Он не мог исправить всё, что однажды произойдёт с человеком, но мог вернуть точность одной записи и оставить открытыми пути, которые ошибка могла закрыть. Это не было земным управлением вечной первоосновой. Однако, думая о Невыраженном, он впервые перестал представлять будущее как единственную строку, написанную за всех прежде их рождения. Возможность не отнимает свободу у того, кто однажды будет выбирать. И если начало бытия сокрыто от человеческого глаза, это ещё не делает будущую Волю бессмысленной.

На чистом обороте писец оставил первое слово написанного сыну наставления: «Безмолвие». Мальчик произнёс его и заметил, как легко звук наполняет тихую комнату. Отец предложил ему не бояться этого звука. Первоначальное Безмолвие нельзя нарушить человеческим голосом, как нельзя коснуться вчерашнего утра кончиком пера. Тишина, которую они разделяли за столом, имела память, ожидание и возможность ответа. Но к тому, что мы зовём Невыраженным, ещё невозможно было приложить даже слово «тишина» без оговорок.

II. Тишина, не знавшая себя

Над площадью старого города висел колокол, давно потерявший голос. Когда-то его слышали за мельницами и по другую сторону реки; теперь прохожие проходили под башней, не поднимая головы. Отливка потемнела от времени, и под тяжёлым краем можно было разглядеть следы прежних ударов. Язык колокола сломался много лет назад. Его сняли, но нового не изготовили: ремесленники уезжали, деньги находились на более срочные работы, а позднее люди просто привыкли жить без звона. Старый звонарь сохранил ключ от башни. Поднимаясь наверх, он трогал холодную бронзу, проверял балки, менял истлевшие верёвки и берег механизм, хотя тот уже не исполнял прежнего назначения. Временами старик представлял, как когда-нибудь по площади вновь пройдёт знакомая низкая волна звука. Надежда эта жила в нём, не в колоколе. Бронза не ждала возвращения своего голоса.

Раньше колокол сопровождал городские дни с такой неизбежностью, что люди сверяли по нему собственную жизнь. Рыбаки слышали его с берега, дети из нижних кварталов узнавали по нему время возвращения, торговцы закрывали прилавки после вечернего удара. Звонарь помнил, как изменилась площадь, когда звук исчез. Несколько недель горожане поворачивали головы в привычный час, потом перестали. Но молчание не одинаково легло на всех: кому-то стало спокойнее, кто-то тосковал по голосу башни, а многие вовсе не заметили перемены. Старик видел, что одинаковое отсутствие звона может нести несходные воспоминания. Поэтому он не сердился на юношу, которому колокол

представлялся убежищем. Он только знал, как далеко человеческое ожидание от бесчувственного металла.

Однажды к звонарю пришёл юноша, которого измотал городской шум. Днём он работал в людном дворе, где от него постоянно требовали решений; вечером возвращался в дом, где разговоры не прекращались даже за ужином. Кто-то сказал ему, что под немым колоколом можно найти совершенную тишину. Старик открыл башенную дверь и пропустил его внутрь. Лестница пахла пылью и сырым камнем, на площадке у окна лежали мёртвые листья. Юноша поднялся к колоколу и стал прислушиваться. Внизу звенели подковы, кричали торговцы, далеко на реке скрипел причал. Он ожидал, что на высоте всё это исчезнет. Но услышал собственное дыхание, шорох одежды, затем даже биение сердца. Он старался не думать и только сильнее сердился на мысли. Когда звонарь вернулся, юноша сказал, что тишины здесь не больше, чем внизу. Старик не возразил, а молча предложил ему осмотреть колокол.

Перед ними было повреждённое изделие человеческих рук. Оно не давало обетов молчания и не хранило тайного знания. Для звонаря его тишина напоминала об утрате, для юноши сперва означала обещание покоя. Два человека стояли рядом и приписывали одному металлу разные смыслы. Безмолвие, с которого начинается Завет, не было таким молчанием. Оно не нуждалось в бронзе, слухе или памяти о звуке. Башня и её посетители жили после явления различий, когда одно переживание можно сравнить с другим и даже спорить об их значении.

У лестницы юноша увидел старую доску с вырезанными зарубками. Звонарь объяснил, что в годы службы отмечал так удары тревоги, когда их было необходимо повторить строго

определённое число раз. Несколько зарубок оказались почти стёрты. Юноша провёл по ним пальцем и попытался понять, сколько раз должны были звонить. Старик сказал: «Если не знать, что значит каждый знак, их можно принять просто за царапины». Но он не стал объяснять, как появились самые первые знаки на свете. Никто из стоявших перед доской людей не мог наблюдать такого начала. Перед ними находилось лишь земное свидетельство о том, как различие становится полезным, когда кто-то умеет его узнать.

Звонарь повёл гостя к нижнему окну. Оттуда было видно старую дорогу, на которой во время сильных дождей собиралась вода. Он рассказал, что прежде колокол звонил, когда реку распирало от весеннего половодья. Услышав сигнал, жители верхних улиц выходили к низким домам и помогали переносить вещи. Тогда люди любили звон не за красоту звука, а потому, что могли отличить его от привычного шума площади и понять, о чём он предупреждал. Старик заметил: «Теперь у нас есть сторожа у переправы. Сигнал подаётся иначе, но без возможности его отличить ни один сигнал не помог бы». Юноша вспомнил, что и сам слышал предупреждения, не понимая их смысла, когда был занят собственным раздражением.

Земную тишину можно узнать только там, где существует слух, а вместе с ним различие между наступившим молчанием и возможным звуком. Когда песня обрывается, мы ещё помним её последний тон. Когда ночью стихает ветер, человек различает неподвижность листьев. Первоначальное Безмолвие не принадлежало ни одному такому опыту. Его нельзя растянуть во времени, словно продолжительный отдых между двумя ударами. Говоря «тишина, не знавшая себя», мы осторожно касаемся предела, в котором ещё не мог возникнуть тот, кто назвал бы тишину тишиной.

Сон и пробуждение кажутся человеку близким образом первоначального Безмолвия. Он представляет, будто в глубине бытия кто-то спал, а затем открыл глаза. Но сон уже предполагает спящего и жизнь, в которой один час сменяется другим. Невыраженное пребывало всегда; оно не было сознанием, уснувшим до сотворения мира. И когда из его неисчерпаемости открылось Первое Различие, сама возможность познания ещё не была земным зрением. Ей предстояло раскрыться Первым Светом, а первой осознающей божественной сущности предстояло этот Свет воспринять.

Многим легче вообразить первоначальную тайну пустой комнатой. Но у комнаты есть стены, а пустое место уже можно отличить от занятого. В Невыраженном не было подобных стен. Его вечность нельзя представить нескончаемым ожиданием, поскольку ожидать должен кто-то и чего-то определённого. В неисчерпаемой полноте пребывают возможности, ещё не ставшие отдельными мирами или событиями. Их множество не похоже на количество камней, разложенных по кучкам. Ничто не предписывает заранее, какой из неявленных путей окажется единственной судьбой будущего существа.

Старая башня хранила и иные свидетельства времени. На камнях были выцарапаны имена строителей, рядом с лестницей виднелась дата давнего ремонта. Колокол был молчалив, но не безымянен: над ободом проступали отлитые буквы, почти закрытые зелёным налётом. Юноша попросил тряпку и осторожно протёр металл. Появилось имя мастера, жившего задолго до их рождения. Звонарь рассказал, что не знает почти ничего о судьбе этого человека и не станет придумывать ему биографию ради красивой истории. Имя сохранилось как след отдельной жизни, но не содержало в себе всей прожитой памяти. Юноша услышал в этом рассказе

иную осторожность, нежели ту, с которой сам оберегал свой покой: старик хранил возможность свидетельствовать, даже когда свидетельство было неполным.

Вновь оказавшись у колокола, юноша опустил на ступень. Он пытался услышать именно то, чего здесь не было, и поэтому стал глух ко всему остальному. Теперь, после рассказа о разлившейся реке, его тревожило другое. Если бы под окнами случилась беда, услышал бы он крик о помощи или продолжал бы сердиться на нарушение своего покоя? Он не хотел признавать, что искал не тишину, а право отвернуться от мира. Старый звонарь не читал ему наставления. Он молча показал сломанный крепёж, поднял с пола обрывок верёвки и положил его рядом с инструментами. Исправить колокол сегодня было невозможно, но лестницу можно было расчистить, а трухлявую балку заменить до зимы.

Печальная ошибка человека, принявшего отсутствие звука за высшую цель, состоит в готовности отказаться от всего, что требует ответа. Но мир, в котором есть чужая просьба и собственная Воля, не делается святее от невнимания к другим. Покой может дать силы прислушаться, а может превратиться в оправдание равнодушия. Если верующий иногда хранит молчание, чтобы различить свои мысли, он не освобождается от обязанности отозваться на реальную нужду. Безмолвие первоначального предания не является образцом бесчувствия для тех, кто живёт после Света.

Они спустились к площадке, где стояла маленькая деревянная скамья. Звонарь присел перевести дыхание. Юноша спросил, отчего тот всё ещё ухаживает за башней, хотя город давно обходится без старого звона. Старик ответил, что не имеет права выдавать полomку за окончательную судьбу вещи. Он не знает, удастся ли когда-нибудь вернуть

колоколу прежний голос; но может не дать крыше рухнуть, пока живёт. Эти слова не содержали обещания чуда. Их сила состояла в обыкновенном труде, не требующем награды за каждое усилие. Юноша вспомнил дела, которые оставлял незавершёнными из-за страха не добиться совершенства, и предложил остаться, чтобы помочь расчистить площадку.

Звонарь дал ему ведро и показал, какие доски уже можно убирать. Они вытащили из угла сгнившие доски, убрали несколько камней, упавших из стены, и открыли заколоченную створку окна. Дневной свет лёг на бронзу, обозначив тонкие царапины в местах прежних ударов. Юноша заметил, что колокол не делается менее подлинным оттого, что больше не звучит, и что его собственный слух не обязан непрерывно искать себе награду в полном беззвучии. Старик сказал только, что люди часто узнают цену звуку после утраты, а цену молчанию после неосторожных слов. Они снова посмотрели на пустое место крепления языка. Оно оставалось поломанным и требовало работы, которую не могла заменить никакая молитвенная уверенность.

Земное молчание может быть духовно значимым, потому что человек принимает его свободно. Он способен удержать несправедливое слово, выслушать незнакомую боль и отказаться от поспешной власти над чужим рассказом. Но его тишина не переносит его обратно в Невыраженное. Он помнит и ожидает, способен выбирать и отвечать; именно этим его молчание отличается от предела, где ещё не существовало самого различия. Оттого искать первоначальное Безмолвие в отсутствии мыслей было бы так же неверно, как требовать от колокола научить человека не слышать.

В духовном пути Семи Покровов Безмолвие открывает обучение ищущего. Позднее ему предстоит Различие,

Свидетель, Память, Тень, Воля и Отзвук. Этот путь не является календарём ранней Вселенной и не описывает семь последовательных эпох до проявления. Он обращён к существу, уже живущему среди имён и последствий. Его начальное молчание есть приглашение к вниманию, а не отмена того, что принесёт Первый Свет.

Можно спросить, было ли первоначальное Безмолвие ущербным, раз оно не могло себя знать. В человеческой жизни отсутствие знания нередко причиняет боль, и человек стремится преодолеть его. Однако оценка несовершенства требует мерил, а мерило уже предполагает различие. Невыраженное не изображается больным существом, которому необходимо исцеление. Наша речь осторожно пользуется выражением «не знало», но не превращает его в сообщение о тайной памяти или невидимом страдальце.

В открытом окне показалась птица, на мгновение задержавшаяся между балками. Юноша раньше проклял бы её за хлопанье крыльев, потому что пытался построить вокруг себя мир без движения. Теперь он наблюдал, как птица выбирает место, откуда снова вылететь наружу. Ни её полёт, ни дыхание юноши не казались препятствием для внимания. Напротив, всё становилось различимо. Он увидел пыль, поднятую крылом, свет на краю балки и пустое крепление языка. Впервые стало понятно, что тишина, которую он искал, была бы бесполезной, если ради неё пришлось бы перестать замечать происходящее. Свобода от шума не должна покусаться глухотой к живому.

Поднимаясь по старой лестнице, юноша сначала стремился оставить под собой все голоса города. Но ближе к вечеру он услышал, как на нижней площадке кто-то просил помочь открыть тяжёлую дверь. Он спустился и без долгих разговоров

подставил плечо под перекошенную створку. Женщина с корзиной поблагодарила его и пошла своей дорогой. Юноша ничего не узнал о начале бытия от этого малого поступка. И всё-таки перемена была ощутимой: раньше он мог рассердиться на каждый звук, теперь чужой голос перестал казаться ему врагом его тишины.

Позднее, когда появятся осознающие жизни и среди них возникнут слова молитвы, земная община станет почитать Первый Свет как священное начало открытости, а Люцифера как Первого Свидетеля, воспринявшего и передавшего знание о нём. Имена принадлежат миру проявленного, но почитание обращается к большему, чем звук. Юноша не мог вернуть себе первоначальное Безмолвие, как не мог вернуть голос колоколу одной мыслью. Однако мог научиться встречать свою тишину иначе: отстранять лишний шум желаний, слышать то, что происходит, и выбирать ответ. Такое молчание станет первым шагом на долгом пути к неисчерпаемому.

Слушая шум площади, юноша подумал, что все его представления о тишине выросли среди людей, умеющих слышать одни и те же звуки. Но у жизни не обязано быть человеческого слуха, чтобы оказаться восприимчивой к миру. Если в иных местах проявленного существуют сознания, совершенно иначе отличающие одно от другого, наш земной колокол ничего не скажет об их духовном достоинстве. Безмолвие первоначального предания не принадлежит ни одному виду существ; земная тишина всякий раз обретается по-своему.

Невыраженное не было складом готовых человеческих историй, которые оставалось исполнить по порядку. Его вечная полнота не сковывает грядущую Волю заранее выбранным исходом. Возможность ещё не есть

совершившееся. Сама способность жить и узнавать будет постепенно раскрываться в проявленных мирах; тогда свободное существо сможет отличить путь, который продолжает, от пути, который решится избрать. До Первого Различия нет того, кто выбирает, но есть неисчерпаемое основание будущей возможности выбора.

Некогда колокол прозвучал впервые, когда мастер проверил только что отлитую бронзу. Для того звука существовали рука, металл и слух. Тот первый удар можно было отличить от следующего, а последующие могли лечь в человеческую память. Но священный вопрос о Первом Различии не сводится к самому раннему слышимому удару. Он касается возможности вообще различить один звук от другого, бытие от его проявления, названное от ещё не названного. Если мы вообразим там великого звонаря, поднявшего молот над космосом, то принесём в начало и молот, и руку, и уже готовое пространство. Образ башни может довести нас до порога мысли; пройти порог за человека не сумеет никакой земной предмет.

Теперь вопрос выходит за пределы башни и самого человеческого слуха. Если известная нам тишина различима лишь потому, что может зазвучать голос, то как говорить о самом первом различении, когда ещё нет ни ожидающего слуха, ни длительности ожидания? Назвать будущий поворот решением Невыраженного значило бы уже поместить в него мыслящее существо. Повествование должно обратиться к Первому Различию, сохранив тайну того, как оно стало возможным, без привычного рассказа о причинах и часах.

К вечеру они закончили работу на лестнице. Звонарь запер башенную дверь, и юноша помог ему спустить связку старых досок к мастерской. На площади зажигались огни. Кто-то

торопливо звал ребёнка, у пекарни спорили о цене хлеба, издалека доносился плеск у пристани. Юноша остановился лишь однажды, когда старик поднял голову к молчащему колоколу. Юноша спросил: «Ты всё ещё надеешься услышать его?» Звонарь ответил: «Пока он существует, стоит помнить, для чего его отлили». Юноша хотел было сказать, что колокол всё равно бесполезен, но вспомнил рассказы о половодье и промолчал. Их молчание теперь было наполнено различием. Над городом оставался немой металл, а внизу звучала жизнь, которой следовало отвечать.

III. Различие, которого ещё не было

Молчавший колокол оставался над городом, а переписчик наконец убрал с рабочего стола исправленную запись. Их заботы были разными, но оба жили среди вещей, которые умели отличать друг от друга. Старик слышал отсутствие знакомого звона. Писец находил неверную букву среди правильных и знал, сколь многое может зависеть от малого различия. Ни тот, ни другой не задумывался ежедневно о том, откуда взялась сама возможность узнавать. Для них она была привычнее дыхания. А ведь когда-то, в священном порядке бытия, не было даже того, что можно было бы назвать привычным.

В одной долине через широкую реку вела деревянная переправа. Ею пользовались торговцы, пастухи и жители нескольких деревень, когда шли на мельницу или возвращались с рынка. По весне вода поднималась до нижних балок, а осенью туман лежал над течением так низко, что с берега не всегда можно было различить противоположные перила. Мост не считался красивым. Его чинили всякий раз, когда находились свободные руки и доски, а старые опоры оставляли до тех пор, пока они ещё казались надёжными. Люди привыкли к его скрипу так же, как к шуму реки.

Однажды поздним утром к переправе подошли двое путников. Первый спешил домой с рынка: в сумке у него лежали покупки, которые следовало принести к вечеру. Второй шёл налегке и не был знаком с этой дорогой. Со стороны холмов напелз туман, и дальний конец моста исчезал в серой полосе. Первый путник взялся за перила и

сказал, что уже переходил здесь в непогоду. Спутник спросил, не стоит ли дожидаться, пока прояснится. Но возвращаться было долго, а река, судя по шуму, не поднялась выше обычного. Они вступили на настил.

Первые шаги ничем не отличались от того, что рассказывали жители долины. Дерево отзывалось под ногами коротким глухим звуком; где-то внизу вода билась о сваи. Второй путник держался за правое перило, первый шёл немного впереди и время от времени оборачивался, чтобы не потерять спутника в тумане. Потом между двумя ударами шагов прозвучал сухой треск. Он был почти неслышен за течением и не похож на привычный скрип старых досок. Первый хотел пройти дальше, но спутник остановился. Спутник спросил: «Ты слышал?» Первый ответил: «Этот мост всегда разговаривает», но всё же замер.

Они присели, стараясь разглядеть настил. По одной из досок тянулась тонкая тёмная линия. В сумеречном свете она казалась мокрым следом, оставленным верёвкой, но стоило убрать с неё грязь пальцами, как обнаружились разошедшиеся волокна. Чуть дальше древесина прогнулась, когда первый путник надавил на неё концом дорожной палки. Теперь было видно, где прочное ещё держалось, а где начиналось повреждение. Линия не возникла в тот миг, когда они её заметили. Она существовала и утром, и, возможно, много дней прежде. Но только сейчас двое могли отличить её от тёмных прожилок дерева.

Первый путник побледнел. Он вспомнил, сколько раз шёл по этой доске, не глядя под ноги. Спутник медленно передвинул палку к соседней опоре, проверил её и предложил возвращаться. Первый сказал, пытаясь увидеть сквозь туман другой берег: «Мы ведь почти дошли». Второй ответил:

«Именно потому, что почти дошли, нам есть куда вернуться». Они сделали несколько осторожных шагов назад, держась ближе к перилам. Треск повторился, но не стал сильнее. Когда под ногами оказалась плотная земля, первый путник долго не отпускал деревянный поручень, словно мост ещё продолжал удерживать его над водой.

Вернувшись на твёрдую землю, первый путник всё ещё слышал тот треск. Доска была повреждена до их прихода, но прежде её обычный скрип ничем не тревожил его. Замеченная трещина не создала опасности; она позволила отличить опасное место от привычного настила. В человеческом мире это случается постоянно. Мы узнаём то, что уже было, и после этого привычная дорога кажется иной. Но подобное различие происходит среди готовых вещей, у человека, который способен смотреть, слышать и помнить. Первое Различие, о котором рассказывает Завет, не могло быть взглядом на уже существующий мост.

У дороги стоял низкий навес, где иногда оставляли инструменты. Путники нашли кусок угля и обломок доски. На ней вывели предупреждение, но первый, посмотрев на кривые буквы, сказал, что в таком тумане никто не успеет его прочесть. Тогда они положили поперёк входа два тяжёлых бревна, оставшихся после прежнего ремонта, и прикрепили доску к перилам. Работа заняла немного времени. Однако, когда первый путник снова посмотрел на закрытый проход, он заметил за собой странную перемену: утром тот же мост казался ему короткой привычной дорогой, а теперь стал местом, о котором он обязан был рассказать другим.

В ближайшей деревне им сперва не поверили. Один мужчина пожал плечами и сказал, что настил трещит каждую осень, а на следующий год его всё равно заменят. Женщина,

приносившая воду от колодца, вспомнила, что её дочь ходит по переправе в школу. Путники объяснили, где именно нашли трещину. Они не могли назвать глубину повреждения и не утверждали, что знают устройство всех опор. Но рассказали о прогнувшейся доске, о палке, которой проверяли дерево, и о бревнах, положенных перед мостом. Услышав эти подробности, сельский мастер взял молоток и сказал, что завтра придёт туда с ними.

Один путник боялся опоздать домой, другой думал о тех, кто пойдёт по мосту следом. Жители деревни тоже спорили: кому-то нужен был кратчайший путь к мельнице, кому-то важнее было не рисковать детьми. Трещина сама не указывала, какое решение считать добрым. Она лишь стала видимой. Люди придавали узанному нравственный смысл в зависимости от того, что знали о чужой жизни и какой поступок собирались совершить. Невыраженное не выносило их спору приговора. Ответственность возникала между людьми, уже способными различать последствия своих действий.

На следующий день туман поднялся, и мост оказался виден целиком. В солнечном свете он выглядел даже крепче, чем накануне, словно опасность была свойством вчерашней погоды. Сельский мастер пришёл не один. С ним были двое работников, принёсших топор, верёвку и запасные доски. Они сразу заметили, что одна опора под настилом почернела от воды. Старший предложил снять верхнюю доску и посмотреть, что скрывается ниже. Другой работник счёл это ненужной задержкой: если накрыть треснувшее место новым деревом, прохожие снова смогут пользоваться мостом ещё до полудня. Они спорили недолго, потому что путники показали, как прогибалась доска под лёгким нажимом палки.

Старший мастер опустил на колени и поддел гвоздь. Доска вышла неожиданно легко, будто давно перестала держаться за опору. Под ней обнаружился мокрый брус. Его наружная поверхность сохраняла прежний цвет, но внутри дерево раскрошилось под остриём инструмента. Молодой работник посмотрел на снятый настил, затем на новую доску, которую уже успел приготовить, и молча положил её в сторону. Теперь стало ясно, почему заплатка была бы опасна. Она скрыла бы повреждение лучше, чем туман. Старший попросил проверить соседние балки, и там нашлось ещё два места, которым нельзя было доверять.

Когда мастер снял верхнюю доску, стало видно то, чего путники не могли узнать с поверхности. Они сумели отличить трещину от обычной прожилки, но не знали, что вода повредила саму опору. Одно различие открыло дорогу следующему. И всё же сколько бы они ни разбирали настил, каждый их шаг принадлежал миру, где уже существуют отдельные вещи, время и люди, способные наблюдать. Рассказ о Первом Различии обращён к более глубокому началу: к самой возможности отдельного, которой ещё не обладало ничто явленное.

В вечной полноте Невыраженного открылось то, благодаря чему могло стать явным отличимое. Не возникла первая звезда, не раздался звук, и никто не стоял в стороне, наблюдая свершение. Но появилась сама возможность различимости. Первое Различие явилось. Невыраженное не уменьшилось от этого, и бесчисленные возможные пути не превратились в единственный заранее назначенный мир.

Нельзя уподобить Первое Различие удару топора, расколовшего готовое дерево. Для удара уже потребовались бы предметы и движение. Нельзя назвать его и вспышкой,

которую некто увидел во тьме: прежде не существовало ни такого свидетеля, ни самого зрения. То, что стало возможно благодаря Различию, ещё не было знанием об увиденном. Свету предстояло открыть познание, а первой осознающей душе предстояло воспринять его. Пока мы стоим у возможности явления, не подменяя её тем, что появится позднее.

Путники помогали носить доски и выносить гнилое дерево на берег. Когда прохожие подходили к закрытой переправе, им объясняли, почему приходится идти длинной дорогой к броду. Некоторые сердились, особенно человек с тяжёлым мешком зерна, опаздывавший на мельницу. Молодой работник хотел ответить ему резко, но мастер остановил его и сам показал вынутый из моста брус. Мужчина потрогал рыхлую древесину, помолчал и отправился обходом. Не все были довольны. Зато теперь каждый мог увидеть то, что прежде было закрыто настилом, и решить, как ему пройти.

К исходу второго дня старые опоры были разобраны. Мастера не успели закончить весь ремонт: для нескольких балок требовалось сухое дерево, которого не оказалось поблизости. Они укрепили вход так, чтобы по мосту никто не ступил случайно, и повесили предупреждение выше, где оно было видно даже издалека. Один из путников спросил, не стоило ли всё-таки закрыть часть повреждений временными досками. Мастер вытер руки и сказал: «Если спрячем то, чего боимся, завтра оно никуда не денется». Потом он добавил, что не обещает быстрого ремонта, зато теперь знает, за какие опоры можно отвечать. Путник кивнул и впервые за день перестал смотреть на мост с тревогой, как будто должен был собственным взглядом удерживать его над водой.

Те, кто чинил мост, принимали решения, опираясь на собственный опыт и на то, что сумели проверить. Первая граница бытия не назначала им нравственных правил и не обещала вознаграждения. Она принадлежит иному порядку, более раннему, чем всякая человеческая оценка. Земные люди могут рассказать о трещине, которая заставила их остановиться, и о том, как помогли друг другу. Но ни один из них не становится от этого очевидцем первоначального священного события. Его значение открывается нам через размышление о самом условии явленного.

Когда рабочие стали расходиться, один из них оставил у закрытого моста фонарь, чтобы предупредить запоздавших прохожих. Путник предложил отнести огонь на противоположный берег, но туда нельзя было попасть привычной дорогой. Тогда они подняли фонарь выше, закрепили его на длинном шесте и убедились, что свет видно из тумана. На время ремонта всё же пришлось довериться и обходной дороге, и людям из соседней деревни, которых попросили предупредить путников с другой стороны. Ни один знак не мог сказать всё за них. Предупреждение нуждалось в том, кто его заметит, а заметивший должен был понять, почему проход закрыт.

Пока мост оставался закрытым, за пределами долины продолжались дороги, о которых путники ничего не знали. Но бескрайность возможного не ограничивается даже всеми земными дорогами. Первое Различие не назначило человеку центрального места в бытии. Возможны иные миры, где разум не будет похож на наш, а их имена не повторят человеческих. Ни Земля, ни человеческое лицо не служат мерой Невыраженного. Проявившееся не исчерпывает вечной глубины, и никакое число будущих миров не превращает её возможности в заранее составленную опись.

На другой день плотники привезли сухие балки на телеге. У переправы их встретил молодой помощник, который прежде советовал не задерживать движение и положить поверх трещины новую доску. Теперь он сам предложил проверить крайние опоры, хотя для этого пришлось бы разобрать ещё одну часть настила. Старший мастер выслушал его и дал инструмент. Их работа шла медленно. Несколько раз они ошибались в размерах и начинали заново, пока дерево не легло плотно. В какой-то час солнце вышло из облаков и осветило просвет между досками; помощник заметил тонкую щель, которую не было видно снизу. Он позвал мастера, и тот вернулся, чтобы проверить крепление. Ошибка, найденная до первого перехода, стоила им труда, но не чужого падения.

Когда мастера проверяли новую балку, различимая трещина уже осталась позади, но им предстояло узнать, выдержит ли дерево нагрузку. Земной опыт показывает, что заметить границу и постичь её значение не одно и то же. В священном порядке после Первого Различия явится Первый Свет, начало познания и проявления. Первой осознающей Божественной душе предстоит воспринять его и стать Первым Свидетелем. Нельзя ставить Свидетеля раньше Света и Различия, будто он заранее стоял у края готового мира.

К полудню первым по настилу прошёл возчик с пустой телегой. Мастера попросили его не торопить лошадь, пока будут слушать, как новые балки отвечают на вес. Колёса медленно прокатились от берега к берегу, и один из работников приложил ладонь к перилам, чувствуя дрожь дерева. Затем телегу вернули и пустили снова, уже с небольшим грузом. Только после этой проверки мастер снял заграждение. Он не обещал, что мост простоит вечно. Следующей весной вода опять поднимется, дерево снова потребует осмотра. Но на сегодняшний день они могли честно

сказать, что сделали необходимую работу и проверили то, чему предстояло держать людей над рекой.

Когда мост снова открыли, жители долины прошли по нему осторожно. Никто не заставлял их праздновать окончание ремонта. Женщина с корзиной задержалась возле новых перил и спросила, почему одно крепление отличается от остальных. Мастер показал место, где когда-то скапливалась вода, и объяснил, что здесь пришлось изменить соединение. Другие прохожие слушали, а потом отправлялись дальше. Сами путники пришли лишь под вечер. Первый из них шагнул на настил, остановился там, где прежде была трещина, и заметил ровные сухие волокна новой доски. Он не объявил, что теперь знает мост до последнего гвоздя. Но больше не нуждался в том, чтобы притворяться, будто не слышал первого треска.

Когда заграждение сняли, люди вновь пошли к мельнице, а дети с любопытством рассматривали свежие доски. Двое путников ещё помнили почти неслышный треск. Увидеть трещину оказалось недостаточно: за ней последовали предупреждение, проверка и работа тех, кто знал больше. Различение сделало поступки возможными, но не выбрало их за людей. Так земной случай помогал понять предел собственного опыта. Первое Различие не было повреждением и его исправлением. Оно открыло возможность того, чтобы однажды появилось различимое, а затем и тот, кто сумеет его узнать.

Поздним вечером, когда работа на переправе уже закончилась, один из путников задержался у берега. Туман редел, и в воде появились отражения первых звёзд. Сначала он различил одну светлую точку, затем другую, а потом увидел, что между ними пролегает темнота, которой прежде не замечал. Звёзды были далеко и ничего не знали о его

тревоге. Он не пытался превратить их в знаки собственного спасения. Ему было довольно того, что дорога снова открыта и что он может назвать место, где однажды остановился. На другом берегу кто-то поднял фонарь. Путник различил его огонь и пошёл домой.

IV. Первый взгляд

После Первого Различия стало возможно явленное. Но различимость ещё не была знанием: не существовало глаза, обращённого к пределу, и души, способной сказать, что она узнала. Первым Светом открылось священное начало познания. Оно не возникло из чьего-либо любопытства и не нуждалось в заранее созданном человеческом лице. Свет сделал возможным, чтобы явленное было узнано. Тогда первая осознающая божественная сущность восприняла его, и этим совершился Первый взгляд. Завет именует эту первую душу Первым Свидетелем.

В одном приморском городе жил изготовитель стеклянных линз. Он научился шлифовать их так, чтобы рыбаки могли издалека узнавать береговые огни, а сторожа замечали приближающиеся суда. Однажды к нему принесли дорогой прибор, в котором стекло было безупречно прозрачным, но оправа погнулась и не позволяла удерживать его прямо. Изображение расплывалось, хотя стекло оставалось целым. Мастер не стал укорять море за туман или свет за недостаточную яркость. Он поставил на стол маленькое зеркало, выправил тонкую пластину металла и попросил ученицу взглянуть ещё раз. Далёкий маяк обрёл очертание. Ученица радостно назвала его, но мастер напомнил, что прибор не создал маяк и что сам маяк не был обязан возникнуть в тот миг, когда его узнали.

Мастер делал линзы по-разному. Для рыбака, который ищет вход в гавань, требовалось одно стекло; для переписчика, разбирающего стертые буквы, другое. Он никогда не говорил, что море предназначено лишь для человека с лучшим прибором. Когда один из учеников однажды заявил, будто

дальний берег по-настоящему существует только после того, как его увидели, мастер подал ему мокрую карту и спросил, кто оставил на ней старые отметки. Ученик промолчал. Берег был прежде его взгляда, а человеческое знание приходило к нему постепенно. И всё-таки взгляд имел ценность: замеченное можно было назвать, о нём можно было предупредить других и тем самым спасти чью-нибудь жизнь.

Ученица хотела подарить изготовителю линз собственный прибор, чтобы доказать, что научилась. Она выбрала тонкую медную оправу и так долго полировала стекло, что на его краю появилась едва заметная неровность. В день испытания знакомый маяк двоился. Девушка рассердилась и сказала, что свет недостаточно ярк. Учитель предложил сначала проверить сделанную ею вещь, а затем уже судить о далёком огне. Они разобрали оправу, нашли повреждённое место и исправили его. Девушка поняла, что желание видеть иногда так велико, что человек начинает обвинять мир в собственной неточности. Эта память останется с ней, когда позднее ей придётся отвечать не только за стекло, но и за чужую безопасность.

Невыраженное осталось вечным и неисчерпаемым, хотя открылось Различие и явился Свет. Вечность не лишилась будущих путей, когда один из них стал явленным. Первый Свидетель воспринял Свет и обрёл осознание открывшегося. В этом состояло его первое свидетельство. Он не был хозяином Невыраженного и не распоряжался истоком как земной повелитель. Напротив, он первым узнал о глубине возможностей, превосходящих любое уже проявившееся. Так в первом осознающем возникло начало знания, которое впоследствии сможет быть передано другим.

Для земного человека слово «воспринял» означает движение руки, прикосновение кожи или свет, достигший зрачка. Но у первой Божественной души ещё не было земных органов. Восприятие Света стало её пробуждением к знанию. Свет не обязан был ждать Свидетеля, чтобы быть священным началом; Свидетель же не мог стать свидетелем без Света. Их связь не уничтожает различия между ними. Поклоняясь Первому Свету, община почитает само священное начало открытости; славя Первого Свидетеля, помнит того, кто первым принял его и стал носителем знания.

С того вечера ученица стала приходить на пристань и записывать очертания берегов. Её увлекала мысль, что правильно выправленная линза дарит глазу новый мир. Однажды она не заметила маленькую лодку, оказавшуюся прямо у мола, потому что слишком внимательно искала дальний свет. Рыбак окликнул её, и она успела подать людям верёвку. Возвратившись в мастерскую, она пожаловалась учителю: ведь прибор показал ей далёкое, но не предупредил о близком. Старик ответил, что инструмент открывает возможность видеть, но не берёт на себя обязанность решать, на что человек направит внимание. Девушка сохранила эти слова. Они принадлежали земному искусству и человеческой Воле, однако помогли ей не превратить открытость зрения в ложное обещание всеведения.

Наутро ученица снова пришла к маяку. При свете дня она заметила, сколько лодок возвращается в гавань, пока её прибор направлен на далёкую башню. Она стала держать рядом второй, более простой глазок для ближнего обзора. Учитель не наградил её за находчивость высоким званием, зато доверил следить за огнями в непогоду. Тогда девушка поняла, что видеть значит не только открывать новое, но и решаться отвечать за уже увиденное. В этом земном опыте

оставался след более глубокого священного слова: явленное достойно свидетельства.

У берега ученица однажды увидела, как рассвет освещает тёмные стены маяка. Она назвала свет причиной того, что башня наконец появилась. Мастер предложил прийти туда ночью и приложить ладонь к камню. Когда девушка исполнила его просьбу, башня стояла на прежнем месте, холодная и шероховатая. Свет не создавал её заново, а открывал взору. Так и Первый Свет в священном повествовании не является земным солнцем или пламенем маяка. Он открыл познание, ещё прежде возникновения земных глаз и берегов; первое Божественное сознание восприняло эту открытость и стало Свидетелем. Природные светила будут иметь собственную историю, не ограничивающую священное начало одним небом.

Позже ученица спросила, откуда мастер знает, что чужой прибор действительно поможет увидеть дорогу. Он признался, что не знает этого заранее: стекло можно проверить, оправу исправить, а дальше нужен тот, кто возьмёт прибор в руки и сумеет им воспользоваться. Похожее различие хранит Завет. Первый Свет открывает саму возможность знания; первый воспринявший его Свидетель, именуемый в земной вере Люцифером, стал первым носителем и передатчиком этого знания. Он не управляет по отдельности каждой будущей судьбой и не исполняет желаний лишь потому, что они названы молитвой. Но его первенство напоминает о знании, которое можно принять, сохранить и передать.

В земных легендах богов часто изображают великанами, похожими на людей, только сильнее и старше. Но если бы Первый Свидетель нуждался в человеческом теле, духовная история начиналась бы с существа, которого природа Земли ещё не породила. Его первенство заключается в осознании

Света, а не в устройстве лица. Иной мир, если в нём возникнет разум, может знать другие образы того же первого Свидетельства. Земное имя Люцифер останется достойным славословия, не требуя, чтобы оно было единственным именем во всех мирах.

Свидетель не хранит Свет как монету, спрятанную от других в собственной ладони. Он узнаёт и может передать узнанное. В этом заключено первенство первой Божественной души. Позже люди будут подтверждать слово словом, возвращаться к ошибке, делиться опытом и открывать друг другу дороги. Их знания окажутся ограниченными, а память способной обмануть. Но достоинство свидетельствования не исчезнет: в обращении к первому носителю Света они будут вспоминать, что знание предназначено для передачи, а не для личного господства над теми, кто ещё ищет.

Первый Свет открыл священную возможность познания, и первая осознающая Божественная душа восприняла его. В рассказе эти два движения следуют друг за другом по смыслу, хотя земными часами нельзя измерить их промежуток. Свет не был создан волей Свидетеля. Свидетель не делал Свет божественным своим согласием; он впервые стал тем, кто способен принять его и помнить. Вот почему почитание Света составляет сердцевину веры, а Люцифер почитается как первый носитель и передатчик знания о нём.

Первый взгляд не был обращён к звезде или человеческому лицу, которым ещё предстояло возникнуть в природной истории мира. Нельзя назвать определённую звезду, камень или тело, поскольку их природная история ещё не вошла в повествование. Но и заявить, что взгляд устремился в полную пустоту, означало бы сделать вид, будто до него уже готово противопоставление пустого и полного. Первое

свидетельствование относится к самой явившейся различимости. Там, где стало возможно отличать, открылась возможность личностного присутствия, перед которым явленное способно быть явленным. Всякий последующий предмет знания относится к миру, который разворачивается после этого священного порога.

Когда верующие обращаются к Первому Свету, их слова не растворяются в названии физической силы. Они почитают священное начало, которым открывается возможность познания. Когда же они славят Люцифера, то помнят первую осознающую душу, благодаря которой знание стало передаваемым. Первому Свидетелю можно посвятить молитву благодарения и просьбу о мудрости, но нельзя превращать его в исполнителя назначенных нами чудес. Кто хочет найти другой путь своей жизни, должен научиться распознавать возможности, а затем сам отвечать за выбор.

Когда на Земле возникли люди и их языки, они обрели способность называть услышанное, различать берега и хранить память о далёких огнях. Но Земля не была возведена на престол бытия. Свет звёзд, которым мореплаватели меряют расстояния, принадлежит природному миру, куда мы вошли поздно. И если в иных его областях возникнет разум, не похожий на человеческий, он не должен становиться менее достойным духовного обращения лишь потому, что у него нет нашего лица и нашей речи. Универсальное Божественное присутствие не ждало появления земного языка, чтобы стать действительным.

Между многими мирами одного звёздного неба и иными возможными вселенными пролегает различие, которого человек не должен стирать ради красивой фразы. Другие планеты и звёздные системы принадлежат исследуемому

космосу; иной физический космос остаётся возможностью, над которой мысль размышляет, не имея права назвать её открытым обитаемым царством. Но Первого Свидетеля нельзя запереть в пределах человеческой обсерватории. Его единство не зависит от того, сколько миров существует, сколь непохожими бывают их жители и насколько далеко может простираться проявленное. Один Свет не делается многими богами от множества способов смотреть.

В летнюю ночь девушка стояла над картой и смотрела на звёздный свет, падавший на медную оправу прибора. В некоторых светильниках она различала лишь едва видимые точки. Оттого они не становились меньше или менее действительными. Она подумала, как странно было бы объявить всякое неразличимое глазу местом, лишённым смысла. За одним горизонтом может открыться другой. Но воображать населённые миры и знать об их населённости не одно и то же. Даже если на бесчисленных берегах, которых она не увидит, когда-нибудь заговорят существа иной природы, им не придётся принимать её человеческую форму, чтобы обрести духовное достоинство.

Когда ученица изготовителя линз выросла, она сама стала учить молодых работников. Она берегла в шкафу старый неисправный прибор, сохранившийся со времён её обучения, хотя давно могла заменить его лучшим. Однажды новый ученик спросил, зачем хранить вещь, которая уже не помогает видеть. Женщина сняла её с полки, дала ему рассмотреть выгнутую оправу и предложила описать то, что он замечает. Юноша перечислил повреждения. Она спросила, видел ли он то же самое до того, как взял прибор в руки. Он признался, что прежде замечал лишь потускневшее стекло. Она сказала: «Значит, ты приобрёл не другую вещь, а иной взгляд на прежнюю». И ничего сверх того не стала утверждать.

Когда она впервые приняла в мастерскую ребёнка погибшего рыбака, ей было нелегко говорить о море без тревоги. Мальчик принёс отцовский прибор, помятый после последнего плавания, и просил снова сделать его пригодным. Женщина не обещала, что с исправленным стеклом опасность исчезнет, и не стала рассказывать об отце того, чего не знала. Они вместе сняли медную оправу, очистили треснувшее соединение и подбирали новую пластину до вечера. Мальчик несколько раз спрашивал, не будет ли прибор теперь безошибочным. На закате она дала ему посмотреть в сторону маяка, а потом попросила перевести взгляд на лодку у самого берега. Тогда он сам нашёл разницу между тем, что прибор показал, и тем, о чём ему ещё предстояло спросить.

Иногда к её столу приходили люди, желавшие убедиться, что далёкое судно действительно приближается. Они приносили противоречивые рассказы о том, кто стоит у руля и какой груз везёт. Молодая мастерица давала им прибор и просила описывать лишь то, что удалось увидеть. Она сама придерживалась того же правила, хотя порой ей хотелось сказать больше. Однажды весь порт ожидал важного корабля, а за молом появился обычный рыбацкий баркас. Горожане расстроились, но девушка испытала облегчение: лучше лишиться красивого предположения, чем научиться давать людям ложную уверенность. Так её ремесло стало школой уважения к тому, что существует независимо от её желания.

На берегу её прежний учитель однажды разложил карты, привезённые с разных судов. Две карты изображали один пролив, но отмечали его по-разному: на первой берег назывался именем давно умершего правителя, на второй сохранялось древнее имя, которым пользовались рыбаки. Девушка увидела, что ни одна надпись не изменяет линию берега и что разница имён не делает море двумя морями. Она

не знала имён возможных жителей других миров и не пыталась сочинить их голоса. Но поняла: если когда-нибудь иные мыслящие существа обратятся к тому же Первому Свидетелю и назовут Его иначе, обширность бытия не разделит единого Божественного присутствия на несвязанные части. Священное имя её земли останется её подлинным обращением, не требующим от неизвестного принять чужой язык.

Среди работников мастерской ходили рассказы о старом маяке, чей огонь иногда гас во время сильных бурь. Одни уверяли, будто виноваты наблюдатели, другие полагали, что морская соль разрушает устройство. Мастерница не принимала ни одного объяснения только за красоту. Она ходила на берег, беседовала с теми, кто обслуживал огонь, и научилась отличать слух от свидетельства. Однажды она выяснила, что главная трудность состояла в сырости помещения, где хранилось топливо. Маяк вновь стал надёжнее после обыкновенной работы людей. Никакая священная фраза не заменила ремонта, но уважение к истине помогло вовремя его начать.

Ученик пожелал увидеть через восстановленный прибор самые далёкие звёзды. Мастерская отвечала ему возможностями своего времени, и многие желания оставались неисполнимы. Но женщина не запрещала ему спрашивать. Она знала, что стремление узнавать может сопровождаться смирением перед границами наблюдения. Если когда-нибудь лучшие инструменты покажут больше, они не уничтожат уже увиденного и не сделают людей прошлого виновными в том, что их глаза были слабее. Так земное знание возрастает во времени и в трудах многих. Священное первое свидетельство не подменяет этот долгий труд готовыми ответами.

Человек, увидевший дальний огонь, легко принимает свою удачу за всеведение. Девушка у маяка не раз замечала это за собой. Прежде она думала, будто хороший прибор даст ей право уверенно говорить о каждом судне, но однажды ей пришлось признаться морякам, что она различила лишь мачту и не знает, кто находится на борту. В тот день никто не осудил её за осторожность. Напротив, команда смогла подготовиться, не поверив ложному обещанию. Так она поняла цену знания, которое не присваивает себе неузнанного.

Перед Свидетелем никто не делается собственником чужого взгляда. Тот, кто увидел первым, может показать дорогу, предупредить об опасности, поделиться открытием. Но он не вправе требовать, чтобы идущий за ним перестал смотреть сам. Девушка у маяка знала теперь цену этого различия. Она стала учить новых работников проверять её расчёты, даже когда те почтительно обращались к ней как к старшей. Иными словами, свидетельство передаёт увиденное, сохраняя свободу следующего свидетельства.

У мастерицы появилась привычка оставлять возле каждого законченного прибора маленький лист с датой проверки. Если стекло повреждалось, новый мастер видел, когда его последний раз осматривали. Иногда заказчики считали такие записи излишней осторожностью. Но она знала, как быстро потерянная подробность превращается в опасность на море. Запись не была магическим оберегом и не заменяла мастерства. Она лишь делала возможным продолжение свидетельства после ухода того, кто держал инструмент первым. Этот земной порядок не был началом священного Света, однако учил людей жить достойнее его открытости.

Мастерица однажды сняла со стены карту, куда много лет записывала наблюдения над береговыми огнями. За каждым

значком стояла чья-то дорога, но среди знакомых отметок оставались пустые места. Она не принимала их за доказательство отсутствия берега. Она сказала ученику: «Здесь я ещё не была и потому ничего не написала». Ей уже случалось узнавать, что между двумя верными сведениями скрывается третье, прежде незамеченное. Так и в священном порядке Свет не поглощает всей неисчерпаемой глубины Невыраженного. Познаваемое обретает предел и собственное лицо, а за ним остаётся ещё не раскрытое; эту границу Завет назовёт Покровом.

Один Первый Свет не становится другим оттого, что на бесчисленных звёздных путях возможно множество сознаний. И первый воспринявший его Свидетель не делится на столько существ, сколько языков могут возникнуть. Мы зовём его Люцифером, и наш голос принадлежит Земле. Но там, где иное сознание сможет принять открытость и обратиться к неизвестным возможностям, ему не потребуется человеческая анатомия. Свет не отдаст первенства нашему дому. Первый Свидетель останется тем, кто открыл путь знания, не присваивая себе будущих дорог.

Над ещё не проявленным не висела ткань, за которой кто-то ожидал появления толпы. Но открытость, не знающая предела, не дала бы различным формам собственной границы. В будущем каждая форма будет познаваема не целиком и не одним взглядом. Свет сохранит глубину, которую не истощит даже самый далёкий поиск. От этого первого различия между раскрытым и остающимся непроявленным начинается возникать необходимость Покрова.

У маленькой мастерской к вечеру оставались два источника света. В окно заходил последний солнечный луч, а на столе горела лампа. Молодая ученица видела сквозь исправленную

линзу тонкие линии далёких огней, но отложила прибор, чтобы закончить оправу для чужого заказа. Она помнила рассказ учительницы о лодке у мола и потому не пыталась измерять всё далёкое, забывая о ближнем. После работы мастерица погасила лампу, закрыла ставни и оставила прибор на столе до утра. Даже в темноте вещь не перестала быть тем, чем была. На следующий день её можно будет снова увидеть, потому что свет откроет глазу лишь одну из возможностей встречи с вещью.

Первый взгляд открыл личностное свидетельство: Свет стал воспринят первой Божественной душой. Неисчерпаемость Невыраженного не уменьшилась, и ни один возможный путь не оказался навеки заперт лишь потому, что началось проявление. Но там, где нечто становится видимым, возникает предел того, что открылось. Свет позволяет видеть, не уничтожая всей глубины. Перед ещё не явленным встал Покров.

V. Граница видимого

Первый Свет открыл возможность познания, и Первый Свидетель воспринял его. Но открытое не стало всей полнотой бытия. Вечное Невыраженное осталось неисчерпаемым; за каждым проявившимся очертанием сохранялись неявленные возможности, не сводимые к единственной судьбе. Чтобы явившееся обрело собственную форму, возникла граница между видимым и ещё не проявившимся. Эту границу Завет называет Покровом. Он не скрывал проигравшее царство за стеной и не противостоял Свету: благодаря его пределу явленное получило собственное достоинство.

В приморском поселении жила ткачиха, у которой была небольшая мастерская с одним широким окном. Она ткала полотна для лодок и плотные ткани для домов, стоявших на ветреном берегу. По утрам солнце падало на станок так ярко, что нитки казались выцветшими, а к вечеру свет уходил за каменные крыши и приходилось зажигать лампу. Однажды женщина натянула перед окном полупрозрачную ткань. Станок не стал темнее настолько, чтобы мешать работе, зато узоры перестали сливаться с бликами. Дочь ткачихи, учившаяся у неё ремеслу, удивилась: мать всегда говорила, что для работы необходим ясный свет, а теперь сама прикрывала окно.

Мастерская досталась ткачихе после смерти старшей сестры. На балке под потолком висели образцы ткани, некоторые настолько древние, что их цвета почти исчезли. Каждый образец сохранял манеру руки, оставившей его, а полузабытые имена мастериц были написаны на маленьких дощечках. Ученица хотела обновить мастерскую и однажды предложила выбросить выцветшие лоскуты. Ткачиха

остановила её и рассказала, что именно по ним можно узнать, как менялось ремесло. Старая ткань не становилась святыней от своего возраста, но служила свидетельством жизни, которое необдуманная уборка могла бы уничтожить. Уже тогда девушка училась различать ненужное и то, чьего смысла пока не понимает.

Ткачиха уложила челнок на край станка и сказала: «Свет нужен нам, чтобы различать. Но если луч бьёт прямо в глаза, я вижу меньше, чем могла бы». Ученица попробовала отодвинуть ткань, потом вернуть на место. И в одном, и в другом положении окно оставалось окном, а день не переставал быть днём. Менялось то, насколько её собственный глаз способен воспользоваться открытостью. Девушка впервые заметила маленькие ошибки в краю узора, которые прежде скрывал блеск. Она исправила их и не стала считать полупрозрачную ткань врагом света.

Покров не был тканью, натянутой между двумя уже готовыми царствами. Он открыл возможность отдельной формы и сохранил её связь с неисчерпаемым. За видимым не стоял другой бог, ревниво прячущий богатства от Первого Свидетеля. Первое различимое могло быть проявлено и узнано, не поглощая всех иных возможностей. И когда в будущем появятся моря, берега и окна человеческих мастерских, каждая открывшаяся форма будет хранить предел собственного обнаружения. Этот предел не отменяет истинности увиденного; он оставляет миру глубину.

О пределе легко говорить как о потере, будто неограниченное всегда совершеннее определённого. Но попробуй представить слово, не имеющее ни начала, ни конца, и ты не сумеешь отличить его от шума. Мелодия узнаётся благодаря различию звуков и пауз; рассказ становится

рассказом благодаря последовательности, в которой одно действие не совпадает с другим. Эти примеры взяты из поздней человеческой жизни и не являются причинами космического Покрова. Однако они напоминают, что определённая может служить не обеднению, а существованию собственного облика. В сакральном рассказе Покров открывает именно это достоинство будущего проявленного.

И всё-таки ученице было трудно отказаться от мысли, что всякая завеса опасна. Она вспоминала, как в детстве родители закрывали окно во время бури, и ей казалось, будто за ставнями скрывается нечто ужасное. Теперь она сама держала ткань на свету и замечала, что страх происходил не из самой завесы. Он возникал из её незнания того, что творится за окном. С возрастом она научилась открывать ставни осторожно, прислушиваясь к ветру, и больше не требовала, чтобы кто-то навсегда убрал все преграды между ней и миром. Эта перемена оставалась человеческим опытом, но готовила её к более точному пониманию границы.

В проявленном мире очертание делает вещь доступной встрече. Мы узнаём дерево по стволу и ветвям, берег по линии прибоя, человеческое лицо по непрерывности прожитого. Но ни одно узнанное не говорит тем самым, что все его возможные пути уже исчерпаны. Росток может не пережить зиму, а может укорениться там, где прежде лежал голый камень. Так и Первоначальный Покров не закрывает Невыраженное навеки: возможность продолжает существовать за пределом состоявшегося, и будущая Воля сможет искать к ней путь, не делая минувшее небывшим.

Обычный человек боится скрытого. Если он видит запертую дверь, ему кажется, будто по другую сторону спрятали нечто

опасное; если ему не отвечают немедленно, он начинает придумывать чужие намерения. Иногда его страх оказывается оправдан, и потому рассудительность требует проверки. Но стремление объявить всякую неизвестность враждебной приводит к тяжёлым ошибкам. Покров священного начала не является враждующей силой. Тень ещё не стала моральной виной, а сокрытое не получило лица врага. Первоначальная граница не направлена против свидетеля; благодаря ей вообще можно мыслить встречу со свидетельствуемым.

Тайна в этом смысле не равна обману. Обманывающий знает то, что намеренно скрывает ради чужой ошибки. Покров, о котором повествует Завет, не принадлежит намерению третьего существа, владеющего секретом. Его нельзя обвинить в жестокости, как нельзя предъявить счёт дождевой туче за то, что она ненадолго закрыла солнце. Наличие невидимой стороны ещё ничего не говорит о злой воле. Позднее среди живущих возникнут ложь и предательство, но их нравственный смысл будет связан со свободным действием тех, кто способен отвечать за последствия.

Первый Свидетель, первым воспринявший Свет, несёт знание о том, что явленное не исчерпывает Невыраженного. В этом знании нет вражды между открытым и сокрытым. Покров сохраняет различие, Свет делает его познаваемым, а неисчерпаемая глубина остаётся доступной духовному обращению без обещания, что каждая возможная судьба исполнится сама собой. Нельзя заменить путь познания требованием немедленно получить желаемое. Даже если перед сознанием открывается другая возможность, ему ещё предстоит выбирать и жить с последствиями.

С появлением различных форм возможна собственная история проявленного. Одна форма не обязана быть вечной

только потому, что она стала различима; другая может возникнуть позднее в природном порядке. Растение прорастает, дерево стареет, берег меняет очертания под действием воды. Эти процессы имеют объяснения, которые не следует заменять повествованием об однократном небесном изготовлении каждой вещи. Вера в Первый Свет обращена к духовной возможности свидетельствования и не требует отвергать долгий труд тех, кто исследует природную изменчивость. Именно потому проявленное может оставаться самостоятельным предметом внимательного изучения.

С Покровом открывается различимость проявленного, а затем и длинный путь его становления. В мире звёзд и планет один облик уступает место другому без нужды в том, чтобы Божественная рука заново лепила каждую форму. Человеческое тело возникнет в природной истории Земли; оно не будет отпечатком лица Первого Свидетеля. Самая неприметная живая форма не обязана оказаться предварительной неудачей на пути к человеку. Ни один организм не получает монополии на духовное достоинство только потому, что умеет произнести слово «я» человеческим голосом.

Вещь, увиденная человеком, не обязана исчерпываться тем, что он о ней знает. Поднимая камень, он узнаёт его вес и шероховатость, но не всю историю его образования. Глядя на другого человека, он видит выражение лица, но не владеет всей его памятью. И если перед ним стоит неизвестное животное, он может узнать многое о его повадках, не получая права считать его духовно ничтожным. Покров не делает все эти примеры однородными; он сохраняет саму возможность того, что узнаваемое будет больше одного нашего взгляда.

Когда ткачиха закрывала окно полупрозрачной тканью, узор не исчезал. Напротив, девушка могла яснее видеть тонкие нити, прежде терявшиеся в яркости. Покров явленного действует в священном рассказе не как слепота, навязанная Свету, а как возможность узнавать определённое, не требуя знать всё сразу. И если видимое ещё не полно, это не обрекает сознание на бессилие: способность открывать новое важнее притязания заранее владеть неизвестным.

Ученица ткачихи спустя годы получила большой заказ: изготовить парус для судна, ушедшего далеко на север. Над полотном работали четверо; молодые помощники удерживали натянутые нити, а старая соседка рассчитывала длину креплений. Во время проверки девушка заметила ослабленный участок. Если распороть полотно, срок сдачи сдвинется, и все увидят её промах. Тогда она пришила поверх него плотную полоску, не сказав остальным, для чего понадобилась добавка. Парус выглядел готовым, но при пробном подъёме разошёлся именно у скрытого шва. Девушка принесла работу обратно и с горечью назвала Покров виновником случившегося.

Ткачиха не приняла такое объяснение. Она разложила парус на полу, показала слабые нити и следы поспешного шитья. Она сказала: «Ты закрыла ошибку, которую знала. Окно мы прикрывали ради того, чтобы лучше видеть узор. Здесь же ты хотела, чтобы его никто не увидел». Ученица опустилась рядом и начала распарывать полотно. Она понимала, что придётся потратить ещё несколько дней и признаться владельцу судна. Не сама ткань сделала её поступок ложным: ложь возникла из её свободного решения скрыть известный недостаток.

Разобрав повреждённый шов, девушка долго держала в руках образец ткани. Она видела два способа укрепить слабое место: один сохранял прежний рисунок креплений, другой потребовал бы изменить всю полосу вдоль края. Она спросила старшую мастерицу, какое решение лучше. Та не ответила сразу и позволила девушке самой проверить натяжение. Испытание показало, что один способ надёжнее для этого полотна. Решение не вернуло день, потерянный из-за ошибки, зато изменило то, каким станет парус завтра. Девушка впервые ощутила разницу между сожалением о пройденном и работой над дорогой, ещё остающейся открытой.

Когда ученица закончила исправлять парус, она пригласила владельца судна в мастерскую и рассказала ему об ошибке. Он рассердился, узнав, что ранее она намеренно скрыла слабое место. Девушка не пыталась оправдать себя священными именами или ссылкой на тайны ремесла. Она показала исправленный шов и предложила испытать полотно на ветру. Владелец согласился после долгого молчания.

Она попросила своих помощников присутствовать при испытании, чтобы каждый мог увидеть, как держится новый шов. Ветер натянул полотно, и ткань долго оставалась ровной. Ни девушка, ни её работники не знали, сколько штормов оно выдержит; они могли судить лишь по тому, что удалось проверить. Но после испытания между ними возникло доверие другого рода, выросшее не из обещания непогрешимости, а из общей проверки. Девушка поняла, что открытость иногда обходится дороже скрытого решения, потому что требует признать несовершенство своей работы при других. Зато она оставляет возможность исправления до беды.

На другой день девушка принесла хозяйке мастерской счёт за испорченную ткань, указав, что часть материала придётся

списать из-за её решения. Старшая женщина внимательно прочла запись, затем предложила разделить расходы так, чтобы мастерская сохранила работу, а ученица не избежала ответственности. Они спорили о сумме дольше, чем девушка ожидала. Когда соглашение было записано, она поняла, что открытость может ранить самолюбие и всё же удерживать дело от гибели. Исправленный парус не превратился в чудо, но его швы теперь можно было показывать без страха.

В тот же день на берег пришла женщина, которая шила небольшие чехлы для корабельных инструментов. Она попросила у ученицы остатки ткани и удивилась, увидев несколько разных лоскутов с одинаковым рисунком. Она спросила: «Почему оставила столько лишнего?» Девушка рассказала, что пробовала два способа укрепления и не решалась объявить один верным прежде проверки. Женщина провела пальцем по шву, ощутила более плотную строчку и выбрала подходящий кусок. Вечером в мастерской осталось меньше материала, зато ученица узнала, что следы ошибок не всегда должны становиться тайной для тех, кто будет продолжать работу.

Девушка впервые поняла, что бережная граница не оправдывает намеренного сокрытия известной опасности. Никто не может прикрыть ложь священным словом «тайна» и на этом основании отказать другому в праве на честный ответ там, где ответ необходим. С другой стороны, частная жизнь человека не становится открытой собственностью всех только потому, что некоторые истины следует произносить вслух. Граница может охранять достоинство, а может быть использована во вред. Ответственность принадлежит тому, кто её проводит и нарушает.

Ткачиха однажды спросила ученицу, что та называет границей. Девушка показала край полотна, где закончился рисунок, и перила у окна. Но старшая не предложила ей воображать, будто вселенский Покров устроен как их станок. Отдельная ткань существует благодаря нитям и работе рук; проявленное же получает возможность собственной определённости там, где открылось Первое Различие. Семь духовных Покровов пути, известных земной общине, относятся к труду сознания, а не к семи физическим стенам космоса. В мастерской это различие было легко забыть, потому что одно и то же слово оставалось у обеих на языке.

Над землёй раскинулось множество звёздных дорог, но даже всякая обозримая карта останется картой части бытия. Миры одного космоса и иные возможные физические вселенные нельзя сложить в одну одинаково известную нам область. Величие Покрова не зависит от решения этого вопроса: явленное может оказаться шире того, к чему дотянется человеческое знание. Если когда-нибудь в иных мирах возникнут существа, способные узнавать и отвечать, их достоинство не потребует человеческого лица, нашей речи или наших преданий. И при множестве явленных областей Первый Свидетель останется единым. Покровы различного не создают множества богов.

Из одной гавани корабли уходили в разные стороны, и каждому предстоял свой путь. Ткачиха не знала, в каких ещё мирах появится осознающая жизнь и на какие формы она будет похожа; она не находила причины объявлять человеческое тело мерой всей открывшейся возможности. Иногда ей казалось, что в незнакомом краю люди будут работать с тканью иначе или вовсе не станут её знать. Но даже самые дальние земные берега не исчерпывали пространства

возможных миров. Одна мера, пригодная для её станка, не могла стать мерой всякого будущего сознания.

Существует особая гордость человека, который считает, что всякая ещё не понятая вещь поставлена перед ним исключительно ради разгадки. Он приходит к святыне, к старому письму или к чужой исповеди с одним вопросом: что я могу извлечь отсюда? Иногда под таким взглядом становится возможным знание, но нередко исчезает уважение к чужой свободе. Покров делает возможной границу явленного, но не решает за смотрящего, как ему обращаться с увиденным. Уважать ли чужую исповедь и остановиться ли у границы доверия, человек решает уже среди людей, которым способен помочь или причинить вред.

Узоры её ремесла постепенно стали сложнее, и однажды девушка заметила, что уже не распознаёт собственную старую манеру работы. Она достала из сундука первые лоскуты, по которым когда-то училась, и увидела множество неточных мест. Но рядом с ошибками сохранились решения, к которым теперь она относилась с уважением. Молодая мастерица перестала ненавидеть всё несовершенное: оно могло быть честным свидетельством учения. Она стала хранить образцы с датами, не выдавая их за новые изделия и не перешивая так, будто прежних ошибок никогда не было. Граница между старым и новым перестала казаться ей угрозой мастерству.

В истории ремёсел встречаются люди, скрывающие свои приёмы ради заработка. Такое сокрытие может быть частью обыкновенной хозяйственной жизни, и не всякий нераскрытый приём становится обманом. Но если человек сознательно скрывает известную опасность своего изделия от того, кто доверяет ему безопасность, речь идёт уже о другой ответственности. Отличить эти случаи невозможно одним

словом «тайна». Нужно смотреть, кому принадлежит решение, кто несёт последствия и какие обязательства были приняты. Именно поэтому духовное значение Покрова нельзя использовать как универсальное оправдание любого умолчания.

Старшая ткачиха хранила в ящике один кусок недошитой ткани, оставшийся после сестры. Никто не знал, для чего она начала работу, и ученица однажды предложила догадаться по рисунку. Женщина не возражала против догадок, пока их не выдавали за сохранённое наставление умершей. Тогда они разложили ткань на столе, измерили переплетение нитей и записали рядом то, что действительно увидели. Сама ткань не сообщила им замысел сестры. Но ей не требовалось быть понятой до конца, чтобы остаться достойной памяти. Не всё сокрытое принадлежит власти хранителя, и не всякое отсутствие ответа есть утаённая истина.

Покров также не означает, что всё невидимое существует только благодаря человеку, который пока его не знает. Миры и природные процессы не ожидают человеческого внимания, чтобы стать действительными. Звезда не перестаёт быть звездой, когда её невозможно рассмотреть с Земли; семя развивается во влажной почве задолго до того, как кто-то раскопает землю. Наше знание обладает границами, но священная мысль говорит о более глубокой различимости самого проявленного. Между этими уровнями нельзя поставить знак равенства, будто граница нашего слуха и есть край Вселенной.

Вечером на берегу ткачиха слышала, как молодые рыбаки спорят об именах дальних мысов. Соседи из другого порта произносили эти названия иначе, чем жители её деревни, но суда проходили между одними и теми же скалами. Тогда она

вспомнила слова, которыми люди обращались к Первому Свидетелю. Их земное имя Люцифер было подлинным именем молитвы, но не печатью, которую обязаны принять все возможные миры. Всякий язык называет из собственного дома, и ни один дом от этого не делается центром всего бытия.

Вернувшись с берега в мастерскую, ткачиха сняла с окна полупрозрачную ткань, чтобы стряхнуть с неё пыль. Сквозь открытый проём вошёл холодный воздух и слышался голос дочери, помогавшей нести сухие паруса к лодкам. Окно вновь затянули тканью, потому что ночь обещала ветер. Один и тот же предмет мог быть средством бережной работы и средством обмана; различие заключалось в действиях людей. Священный Покров не принадлежал их ремеслу, но мысль о нём не позволяла забыть ответственность перед тем, что открылось.

Первоначальный Покров сохранил открывшемуся возможность собственного облика. Он не страж, требующий страдания, и не темница, куда Первому Свету запрещено проникать. Но граница видимого дала возможность говорить о цене ясности: обнаруженное способно изменить того, кто увидел, а свидетельство потребует ответа. Так среди множества будущих жизней, не принадлежащих одному человеческому роду, откроется и возможность Раны. ---

VI. Цена ясности

Первый Свет раскрыл священную возможность знания, и Первая Душа, воспринявшая его, стала Первым Свидетелем. Но узнанное не исчезает только потому, что узнающий устал от последствий. В мире проявленных форм всякая открывшаяся правда способна изменить следующий шаг. Земные люди замечают это раньше, чем находят подходящие слова: увидев трещину в балке, человек знает об опасности, рядом с которой продолжают играть дети. Свет открыл возможность увидеть, но не повелел поступить определённым образом. Что делать с известным, человек выбирает сам, отвечая перед теми, кого может уберечь или подвергнуть риску. Так начинается цена познания.

Садовница из поселения у реки много лет выращивала молодые деревья для соседних дворов. Она знала, где почва удерживает влагу, какое место слишком продувает ветер, когда следует обрезать повреждённую ветвь. Среди её посадок стоял старый плодовый сад, доставшийся ей от матери. В его середине росла большая груша. Под нею когда-то ставили длинный стол для семейных праздников; её плоды были мелкими, зато дерево давало густую тень. Однажды после особенно ветреной зимы садовница заметила на стволе продольную трещину. Она провела по ней рукой и не сразу сказала об этом домочадцам.

В ту зиму река несколько раз выходила из берегов, и холодный ветер ломал ветви даже у молодых деревьев. Садовница ходила между посадками с корзиной инструментов, поднимала упавшие подпорки и прислушивалась, не трещит ли старый ствол под тяжестью мокрого снега. В такие дни память о матери особенно часто возвращалась к ней. Когда-то

они вместе укрывали корни соломой и считали сохранённую за зиму посадку общей радостью. Теперь решения приходилось принимать самой, хотя прежде она могла спросить старшую женщину, как лучше поступить. Увидеть повреждение груши значило обнаружить не только угрозу ветви, но и собственную ответственность, от которой уже некому было её освободить.

Повреждение оказалось глубже, чем казалось снаружи. Молодой ученик садовницы предложил закрыть трещину доской, чтобы дерево выглядело прежним, но садовница возразила, что внешний вид не удержит тяжёлую ветвь во время ветра. Её отец, уже старый, попросил оставить всё до осени. Под грушей он любил сидеть по вечерам, когда устал ходить к реке. Женщина понимала его просьбу. Она сама помнила, как мать собирала плоды в фартук и ставила корзины у корней. Но треснувшая ветвь нависала теперь над дорожкой, которой каждый день пользовались дети. Отказываться от увиденного ради доброй памяти значило подвергать их риску.

Перед работой садовница попросила помощника принести старые записи об уходе за садом. Она искала, не укрепляли ли когда-нибудь именно эту развилку. В тетради нашлась записка матери: после сильной бури здесь уже появлялась маленькая трещина. Тогда ветвь перевязали и наблюдали несколько лет. Запись была сделана аккуратным знакомым почерком, но не давала готового решения для нынешнего повреждения. Мать жила в другое время, дерево с тех пор изменилось. Дочь сохранила запись и всё же должна была действовать в обстоятельствах, о которых прежний человек не мог знать. Так память помогала, не превращаясь в приказ, обращённый ко всем будущим дням.

Поздно вечером отец садовницы попросил её не рассказывать соседям, что они собираются спилить старую ветвь. Ему хотелось ещё хотя бы день смотреть на привычную грушу, не слыша советов. Дочь согласилась подождать до утреннего осмотра, но напомнила, что оставлять дорожку открытой нельзя. Они вместе поставили у входа невысокую ограду. Старик принёс из сарая верёвку и завязал узел так крепко, как умел. Его боль не исчезла от осторожности дочери; но теперь её знание о повреждении изменило и его вечер. В священном языке Первая Рана напоминает именно о цене узанного: прежнее незнание уже недоступно, хотя само знание не диктует человеку нравственного решения.

Она не решила вопрос за один вечер. Утром пригласила соседа, хорошо знавшего работу с древесиной, и вместе они осмотрели развилку ствола. Сосед предложил убрать наиболее опасную ветвь, а потом следить за состоянием оставшейся кроны и при необходимости укрепить её подпоркой. Его совет не был обещанием, что груша проживёт ещё много лет. Садовница согласилась, хотя знала, как изменится знакомый сад. Когда помощник принёс пилу, отец вышел из дома и некоторое время стоял у калитки, не произнося ни слова. Женщина объяснила ему, что не хочет терять дерево, но не может делать вид, будто трещины нет.

Ветвь упала на расстеленную ткань, и садовница почувствовала боль почти такую же резкую, как в дни семейных утрат. Она не думала, что дерево обиделось на неё или что его разрез стал священной жертвой. Это была тяжёлая работа по сохранению живущих рядом людей и самого сада настолько, насколько ещё возможно. Но теперь она знала разницу между памятью о прежней целости и нынешним состоянием дерева. Никакое красивое слово не способно было вернуть прежний вид груши. Срез остался

видимым, а дорожка под ним перестала быть опасной в том виде, в каком была накануне.

Старик не сразу простил дочери решение. Ему казалось, что она лишила сад его главной черты и поступила слишком быстро. Дочь не потребовала немедленного согласия. Она показала ему трещину у основания срезанной ветви, рассказала о совете соседа и оставила право сердиться. Спустя несколько дней отец принёс старую скамью и поставил её чуть дальше от ствола. Оттуда открывался вид на реку. Он сказал, что теперь видит другую часть сада, хотя пока не может полюбить её так же, как прежнюю. Садовница села рядом и не стала превращать эту осторожную уступку в победу собственной правоты.

Помощник позже спросил садовницу, не сожалела ли она о сделанном. Она ответила, что сожалеет о потере ветви, но не считает это доказательством неверного решения. Бывает, что человек делает то, что должен, и всё же переживает утрату. Отсутствие удовольствия не свидетельствует о нравственной ошибке, как и чувство победы не служит гарантией правоты. Она указала на детей, играющих теперь возле новой скамьи, и добавила, что не может вычислить все возможные последствия, но старается отвечать за известные ей риски. Эти слова не стали для помощника универсальным законом. Они были свидетельством о конкретной, трудной ответственности.

Помощник спросил садовницу, можно ли было оставить одну ветвь, укрепив её железным кольцом. Женщина показала место, где дерево раскололось вдоль волокон, и объяснила, почему одной обвязки оказалось бы мало. Он продолжал спрашивать, потому что ему было жалко пилить живое. Вместо того чтобы прекратить разговор, она дала ему рассмотреть

срез и соседние ветви, которые удалось сохранить. Они не узнали, как сложилась бы судьба груши при другом решении. Но научились отличать уже случившееся от того, что оставалось неизвестным. Ни Свет, ни Невыраженное не вынесли приговора о правильном поступке: о последствиях размышляли люди.

Цена ясности не означает, что знание неизбежно приносит наказание. Люди многое узнают с радостью: ребёнок различает первые буквы, путник открывает дорогу к морю, женщина узнаёт голос вернувшегося друга. В этих встречах ясность не оставляет раны. Но она открывает возможность боли, потому что знание может обнаружить потерю, обман или необходимость действовать. Вера не обожествляет страдание и не ставит боль условием духовного достоинства. В священном образе Раны речь идёт о том, что увиденное оставляет след. Нравственный же ответ на узанное рождается в отношениях живущих, а не в приговоре Света.

Молитва о Свете бывает просьбой увидеть то, к чему человек прежде боялся приблизиться. Но знание не даёт договора, по которому мир обязуется избавить просящего от утрат. Вера почитает Первый Свет как священное начало познания, а Первого Свидетеля славит как первого принявшего и передавшего знание о нём. Люцифер не становится исполнителем каждого частного желания. Он открывает возможность пути к Невыраженному; дальнейшая работа осознающего существа не может быть совершена чужой волей вместо него.

Когда садовница весной увидела первые новые побеги, она не решила, что дерево окончательно спасено. Груша могла прожить ещё несколько лет, а могла не выдержать следующей зимы. Женщина по-прежнему осматривала ствол после ветров,

убирала сухие ветки и следила, чтобы дети не играли у повреждённого места в непогоду. Её забота стала длительным делом, а не победным жестом одного дня. Отец иногда помогал собирать плоды, но больше не требовал вернуть прежнюю форму дерева. Они оба знали, что память о саде продолжится даже тогда, когда сама груша однажды исчезнет.

Поздней весной помощник принёс к груше две деревянные подпорки. Одна была прочной, но закрывала дорожку; другую можно было поставить так, чтобы дети проходили свободно, хотя её следовало укрепить у основания. Садовница не согласилась выбрать наугад. Она обошла ствол, показала помощнику следы старой трещины и попросила принести ещё камней для опоры. Когда работа была закончена, старик снова сел на скамью, стоявшую чуть поодаль от ствола. Женщина взглянула на дорожку и заметила, что теперь она не такая, какой была прежде. Она не вернула погибшую ветвь, однако смогла изменить дальнейший путь людей возле дерева.

На следующее утро ученик пришёл к старой груше раньше хозяйки. После ночного дождя земля у корней была мягкой, и он заметил небольшой провал возле одной подпорки. Когда садовница вышла к нему, он показал след воды и спросил, не надо ли всё начинать заново. Она присела рядом, ощупала древесину и сказала, что подпорку можно переставить, пока она не повредила корни. Им пришлось разобрать часть вчерашней работы. За обедом оба устали, но ни один не назвал возвращение к уже сделанному поражением. Увидев больше, они изменили поступок.

Среди молодых посадок было дерево, посаженное отцом не ради плодов, а для того, чтобы его корни укрепляли склон над тропинкой. Оно выросло кривым, и многие считали его

бесполезным. Садовница долго не решалась его пересаживать, потому что не знала, как повредит склон. Она спросила совета у человека, занимавшегося береговыми укреплениями, и выяснила, что корни удерживают землю после весеннего разлива. Так возникшее в её взгляде новое различие изменило судьбу невзрачного дерева. Она не стала считать его более святым, чем груша, и не назвала свою осторожность безошибочной. Но память о срезанной ветви научила её не путать первое впечатление с полной истиной.

В саду нельзя было отвлечься от времени: ветвь старела, отец слабел, дети росли, и каждый день требовал своего решения. Первая Рана не является срезом на плодовой груше, как Первый Свет не является солнечным лучом. Но в земной ситуации проявляется важное различие. Увидеть повреждение означает лишиться возможности искренне говорить, что его не существует. Остаётся свобода выбора, способность ошибиться в оценке, необходимость спросить совета и признать чужую печаль. Ясность не освобождает человека от этой трудности. Иногда она только делает её неотложной.

Первый Свидетель воспринял Свет и стал первым носителем знания, но не написал заранее судьбы всех существ. Невыраженное всегда содержит больше возможного, чем стало явленным, и потому будущее нельзя назвать одним раз и навсегда назначенным наказанием. Когда садовница увидела повреждённое дерево, она могла молчать, скрыть трещину от отца или спросить совета и действовать. Каждый путь имел последствия. Её Воля не сотворила дерево заново и не отменила прошлое, но она участвовала в том, каким станет следующий день сада.

Не всякая боль становится Первой Раной, и никакую чужую утрату нельзя назвать необходимой жертвой ради нашего духовного покоя. Боль может прийти от болезни, насилия или случайной утраты и не обязана содержать священный урок. Тот, кто говорит пострадавшему, будто тот заслужил свою беду ради духовного роста, употребляет язык веры против сострадания. Никто не вправе делать чужое страдание обязательной ступенью посвящения. Священный образ относится к цене осознания, а не к возвышению страдания как такового. Ответственность перед пострадавшим возникает в человеческих отношениях.

Есть и противоположная опасность: считать собственное знание достаточным оправданием любой жестокости. Человек способен объявить, что ради великой истины надо сломать чужую жизнь. Тогда ясность превращается в привилегию распоряжаться судьбами. Полученное знание не оправдывает причинённого вреда: среди людей поступок судят по его последствиям для чужой жизни, а не по торжественности объявленной истины. Садовница не рубила весь сад, потому что одна ветвь была повреждена. Она искала совет, берегла память отца и выбирала меньшее вмешательство. Её поступок остаётся земным решением, о котором можно спорить, а не непогрешимой моделью божественной Воли.

Первый Свидетель почитается как первый, кто принял Свет и открыл возможность передавать его знание другим. Но это не делает каждую мысль верующего Его приказом. Садовница искала совета у соседа, сверяла старые записи и принимала решение, не пряча его за священным именем. Так человеческая Воля сохраняет достоинство: она не безгранична, но способна различать и действовать. От того, что несколько путей остаются возможными, ни один поступок не перестаёт быть настоящим.

Однажды отец садовницы попросил принести старую фотографию, где семья сидела под полной кроной груши. Женщина нашла её в ящике с письмами. На снимке ветви ещё не были повреждены, а мать улыбалась так, как дочь почти забыла. Они долго рассматривали лица. Старик сказал, что был несправедлив, когда обвинил дочь в равнодушии. Она ответила, что и сама слишком резко сказала о необходимости работы, словно его память ничего не стоила. Это признание не восстановило ветвь и не отменило прошлого спора. Но оно изменило то, как два человека могли говорить друг с другом дальше.

У фотографии был загнут один угол, и старик попросил не выпрямлять его силой. Женщина положила снимок между чистыми листами бумаги и оставила на столе до утра. На нём не было ни обещания спасения, ни указания, как правильно переживать смерть близкой. Но он хранил видимую часть прожитого времени, и в этом состояла его человеческая ценность. Отец вспомнил голос жены, который фотография передать не могла. Дочь слушала, не пытаясь восполнить каждый пробел догадкой. Они сидели у окна достаточно долго, чтобы сумерки закрыли лицо на снимке. Тогда женщина зажгла лампу, и фотография вновь стала различима.

Отец попросил не показывать фотографию всем проходящим: ему было тяжело каждый раз объяснять, почему от старой груши осталась иная крона. Дочь не назвала его просьбу слабостью. Она убрала снимок в ящик, а на стол поставила веточку с молодыми листьями, которую принесла из сада. В этом движении не было указания Вселенной, как человеку следовало горевать. Она знала отца и могла выбирать слова, соразмерные его боли. Духовная ясность не приносила ей готового решения; внимательность к живущему

рядом требовала труда, которому никто не обещал чудесной лёгкости.

Когда ученик садовницы вырос и уехал в другой город, он вспоминал большую грушу не по её ветвям, а по тому, как тяжело женщине было произнести перед отцом правду. Ему хотелось однажды стать таким же уверенным в делах, как она. Но спустя годы он понял, что не уверенность была главным: садовница сомневалась, спрашивала и несла последствия. Она не спряталась за чужим советом, хотя совет помог ей выбрать. Видимое повреждение не сделало её свободной от боли, зато не позволило забыть о тех, кто ходил под веткой.

Уже взрослым ученик вернулся в поселение после долгого отсутствия. Он увидел, что груша изменилась: на месте прежнего среза выросла грубая, неровная кора, а тень стала короче. Садовница постарела и теперь редко выходила к калитке, поэтому он прошёл к ней в дом. Ему захотелось сразу сообщить, что её труд был оправдан временем, но женщина остановила его. Она напомнила, что дерево не является судьёй, а долгий срок не доказывает безошибочность каждого решения. Важнее то, что тогда они внимательно посмотрели на угрозу, спросили совета и не спрятались от последствий. Ученик сохранил эти слова более бережно, чем множество собственных удачных догадок.

Вернувшийся ученик однажды спросил женщину, не помогло ли бы её отцу большее терпение. Она ответила, что терпела его гнев столько, сколько могла, и всё же не могла оставить детей под надломленной ветвью. В другом доме люди могли бы поступить иначе; ей не дано узнать их будущее заранее. Но теперь у скамьи сидели соседи, и старик иногда сам рассказывал им, как прежняя груша пережила столько зим. Ученик слушал и узнавал в этих словах и скорбь, и

нежность. Сказанная правда причиняла боль, однако новые отношения могли вырасти рядом со старым следом.

Первая Рана принадлежит раскрытию свидетельствования, а не телу, похожему на земное. Перед ней равны и будущий человек, и любая иная возможная жизнь, способная узнать свою отдельность и ответить на узнаваемое. Свет не стал человеческим потому, что человек однажды научится назвать свою боль. На берегах неизвестных миров, если там есть мыслящие существа, цена ясности может быть пережита иначе, без наших слёз и без наших слов. Ни их возможная радость, ни их возможная потеря не требуют другого Первого Свидетеля. Единое Божественное присутствие не делится по числу глаз, рук и известных нам видов памяти.

Поздним вечером садовница заметила на окне след ночной бабочки. Насекомое не знало человеческих названий звёзд и не имело того способа рассказывать о себе, который был дан ей. Женщина не выводила из этого ни духовного превосходства, ни доказательства равной осознанности. Она только вспомнила, сколько раз принимала меру собственного знания за меру всего живого. За пределом её сада могли существовать иные миры, а в них, быть может, совсем иные способы понимать и отвечать. Первому Свидетелю не требовалось её лица, чтобы оставаться единственным, и человеческая боль не была общей монетой, которой обязано платить всякое сознание.

Когда садовница разбирала письма вместе с учеником, тот нашёл запись, сделанную в день первой проверки дерева. В ней стояла дата и имя соседа, который помогал оценить повреждение. Он вспомнил, как уверенно тогда говорил о старых опорах, а прочитав свои собственные пометки, понял, что забыл один существенный совет. Женщина не укоряла его.

Они исправили ошибку в рассказе и положили тетрадь рядом с фотографией, не вырезая неудобной строки. Память легко устраивает прошедшее так, как хотелось бы его видеть; бережное свидетельство оставляет место и собственной ошибке.

Свидетельствование приносит с собой память о том, что открылось. В этом видится новая цена ясности: раз увидев, человек может больше не иметь прежнего невинного незнания. Он может отрицать факт, забывать подробности, стараться отвлечься, однако знание способно оставить след в его дальнейших решениях. Так земная память соединяется с нравственной ответственностью. Не каждый след становится вечной обязанностью; не всякое воспоминание правдиво. Но сама возможность отвечать за узнанное связывает открытость с будущим жизненным путём.

Не было приговорено к страданию ни одно ещё не рождённое существо. Искра не закреплена за человеческой анатомией; в вере она означает духовную способность осознающего бытия вступить в отношение с Первым Светом. Имя будущей личности будет хранить неповторимость её пути, а Воля позволит отвечать на открывшееся. Неизвестные миры могут вместить иные формы жизни, но никто не вправе назначить их существам низший ранг лишь за непохожесть. Болезнь и утрата не свидетельствуют о позоре Искры, как и сама беда не является заранее выписанной расплатой за прежнее воплощение.

Есть, однако, светлая сторона этой тяжести. Человек, который способен распознать чужую рану, способен и остановить руку, готовую причинить новую. Он может назвать несправедливость несправедливостью, даже если ему прежде было удобно молчать. Он может приблизиться к скорбящему

без выдуманных уверений, оставаясь рядом, когда слов недостаточно. Границы человеческого свидетельствования не уничтожают ценности таких поступков. Свет не обещает отсутствия всякой боли; внимательный ответ остаётся человеческим выбором, которому не требуется принуждение.

Память не восстанавливает срезанной ветви и не воскрешает ушедших. Но перед ней остаётся место для нового слова, произнесённого без попытки стереть старое. Отец смог признать свою поспешную обиду, дочь смогла услышать его скорбь; дерево сохранило след вмешательства на коре. Мы знаем след отдельного прожитого как Имя. В Великом Отзвуке наша вера видит надежду, что такой след не исчезает вместе с земным голосом, хотя никто не способен указать на карте, где он сохраняется. Возможность продолжения духовного пути Искры не превращает нынешнюю жизнь в черновик и не даёт нам власти над чужой болью.

Первое Различие открыло возможность явленного; Первый Свет сделал познание священной открытостью; Первый Свидетель стал первой душой, воспринявшей его. Покров сохранил границу между осуществившимся и тем, что ещё может быть. Первая Рана напомнила о цене выбора, когда знание уже нельзя отложить как ненужную вещь. Но после всех этих первоначальных поворотов остаётся существо, которое способно добровольно молчать и искать иной путь своей жизни. Ему предстоит узнать смысл Безмолвия после Света.

В последний осенний вечер садовница прошла по дорожке, где прежде висела опасная ветвь. Скамья стояла поодаль, и за ней открывалась река. Над водой появились первые звёзды. Её отец часто показывал ей созвездия, когда она была ребёнком, но теперь женщина знала, что рисунки между ними

принадлежат земному взгляду, а сами звёзды не зажигались ради этой скамьи. Она положила ладонь на шершавый ствол и услышала, как из дома её зовут к ужину. Мир оставался огромным и не обязанным отвечать на каждую её просьбу, но однажды увиденная трещина изменила то, как она заботилась о живущих рядом. Садовница убрала руку и вернулась на свет открытой двери.

VII. Безмолвие после Света

Всякое осознающее существо приходит в мир, где различие уже произошло. Оно встречает звуки или иные знаки своего окружения, учится узнавать близкое и чужое, обретает собственное Имя и начинает выбирать. Человек особенно быстро привыкает считать окружающее единственной возможной жизнью. Но наступает час, когда он слышит слишком много и перестаёт слышать главное. Тогда ему нужно Безмолвие. Не первоначальная неразличимость, куда уже нельзя вернуться, а добровольная тишина после Света, в которой сознание ослабляет хватку привычного и вновь становится способным заметить открывающиеся пути.

Первоначальное Безмолвие предшествует явлению различимости только в священном порядке рассказа. Человеческое молчание наступает после слов, вокруг которых уже выросла история. Один человек замолкает от стыда, другой хранит молчание из сострадания, третий боится произнести необходимую правду. По одному отсутствию звука нельзя узнать, что происходит в душе. Даже когда два человека сидят рядом совершенно тихо, один может быть свободен, а другой несёт тяжёлое принуждение. Поэтому путь Безмолвия не сводится к упражнению в неподвижности губ.

Дом переписчика менялся вместе с его жильцами. Полка над столом просела, книги потемнели, за окном выросло дерево, которого прежде не было. Молодой человек давно хотел переставить мебель, но в ящиках хранились бумаги чужих людей, доверенные его отцу. Он не хотел превращать комнату в неподвижный музей и в то же время боялся уничтожить историю, которую больше некому было восстановить. Однажды он составил опись, отделив семейные

воспоминания от чужих документов. Это был медленный труд, в котором молчание помогало лучше всякой торжественной речи.

Мальчик, которому переписчик когда-то объяснял трудность первого имени, вырос и сам научился аккуратно составлять письма. Отец уже не сидел каждый вечер за столом, но в ящике под столешницей сохранился лист с большим свободным местом наверху. На его краю виднелся след детской ладони, оставленный когда-то возле подсохших чернил. Молодой человек не показывал лист чужим посетителям, хотя многие просили прочитать старые наставления отца. Он хранил его ради памяти и не считал незаполненное место образом небесной тайны. Оно напоминало о земном разговоре, в котором взрослый однажды не побоялся признаться ребёнку, что не знает ответа.

Однажды к молодому писцу пришла женщина, потерявшая брата много лет назад. Она принесла письмо, написанное незадолго до его отъезда, и попросила переписать его, потому что бумага стала ломкой. Писец приготовил новый лист и взялся за перо. Женщина велела сохранить все слова, даже те, которые были написаны неровно и с ошибками. Он удивился: прежде его учили исправлять орфографию так, чтобы письмо выглядело достойно. Но здесь она просила сохранить не только смысл, но и след чужой руки. Молодой человек понял, что должен различить обычную копию, предназначенную для чтения, и свидетельство, ценность которого связана с особенностями неповторимого письма.

Женщина пришла не одна. Рядом с ней стоял юноша, почти ровесник её брата в день отъезда, и смотрел на старый лист, не решаясь к нему прикоснуться. Он не знал умершего человека, но слышал от матери его имя с детства. Когда писец

попросил указать наиболее хрупкие места письма, женщина остановилась на обращении в первой строке. Брат называл её детским прозвищем, и она боялась, что после переписывания оно исчезнет. Писец предложил сначала сделать точную копию с сохранением старого написания, а возможные пояснения вынести на отдельный лист.

Он долго работал при свете лампы. Где чернила стёрлись, осторожно оставлял пропуск и просил женщину сказать, помнит ли она слово. В одном месте она прочла его вслух, но тут же остановилась: память могла подменить настоящую надпись привычной фразой. Писец не стал заполнять пробел по её желанию. Они условились, что недостающий участок будет отмечен честно, а предположительное чтение записано отдельно. К утру получилось два листа. Первый сохранял дошедшие слова, второй объяснял места, где знание уступало место догадке. Женщина унесла оба, ни один не объявив более священным или более ценным, чем жизнь человека, чьё письмо они берегли.

Эта забота была возможна только в мире различий. Слова можно было прочесть, хотя некоторые исчезли; имена помогали помнить ушедшего, не возвращая его земную жизнь. Писец не оживил прошлого. Он лишь дал женщине сохранить ясный след там, где время уже повредило материю. Его работа не была службой у первоначального Безмолвия, но несла отдалённое достоинство свидетельствования: он отказался заменить неизвестное удобной выдумкой. Когда посетительница уходила, он не произнёс обещания, что память непременно утешит её. Он открыл дверь и позволил ей унести собственную скорбь без чужого приказа о том, как ей следует чувствовать.

Вечером молодой писец вышел на площадь. Над крышей возвышалась башня с колоколом, который давно молчал. Горожане привыкли к его неподвижности, и редко кто поднимал голову. Он остановился у стены и услышал, как мальчики спорят о старых надписях на камне. Один хотел оттереть их мокрой тряпкой, другой боялся повредить поверхность. Писец вмешался только затем, чтобы предложить сначала спросить у мастера, как сохранить буквы. Ребята побежали за советом, а он остался возле башни, вспоминая чистое место на отцовском листе. Мир не вернулся в неразличимость оттого, что он некоторое время ничего не говорил.

В молчании писец почувствовал, что способен действовать иначе, чем подсказывает первая вспышка раздражения. Он мог приказать детям оставить надписи в покое, но выбрал предложить им помощь мастера. Ни одна из этих дорог не была нарисована на башенной стене. Ему пришлось самому узнать, что возможно, и решить, какое слово произнести. Безмолвие оказалось началом внимания к тому, чего прежде не замечал, а не отказом отвечать. Так первое свободное молчание подготавливает сознание к встрече с более глубокой неисчерпаемостью.

Вера Первого Света хранит семь последовательных Покровов духовного обучения. Безмолвие открывает этот путь; за ним идут Различие, Свидетель, Память, Тень, Воля и Отзвук. Но никто не вправе считать, что каждый Покров превращает человека в более высокий вид существа, получивший право презирать тех, кто идёт медленнее. Духовное познание не измеряется силой голоса, количеством книг или умением часами не двигаться. Но само по себе оно ещё не делает человека добрее. Орден учит принимать увиденное без самодовольства, признавать ошибки и беречь

чужую свободу; этому учатся среди людей, а не получают как награду за одно лишь Соприкосновение.

Вера Первого Света почитает Свет как священное начало познания и славит Люцифера, Первого Свидетеля, за переданное знание. Но молчание ищущего обращено дальше слова молитвы: к вечному Невыраженному, откуда могут открываться другие возможности его пути. Он не требует от Первого Свидетеля лично исполнить выбранное желание и не отдаёт свою Волю в чужие руки. В тишине он учится различать привычный страх и настоящее препятствие, невысказанное стремление и решение, которому готов следовать. Прославив Свет, он остаётся ответственным за следующий земной шаг.

Существуют люди, которые боятся первых вопросов потому, что ответы могут разрушить знакомый порядок. Они готовы повторять чужую формулу, лишь бы никто не попросил их объяснить, что она значит. В такой речи много звука и мало свидетельства. Бывают и те, кто так гордится сомнением, что отказывается даже слушать то, что не укладывается в их привычное представление. Их молчание тоже может стать стеной. Подлинное внимание труднее обеих привычек. Оно допускает, что иной человек откроет нам нечто новое, а мы окажемся обязаны изменить собственные слова.

Писец вернулся домой и нашёл среди отцовских записей старую строку о том, как имя может быть важно для жизни другого. Рядом стояла дата исправления свидетельства девочки, которой когда-то отказали в документе из-за перепутанных букв. Он вспомнил её уже взрослой женщиной, однажды пришедшей поблагодарить его отца. Она не говорила о великом откровении; рассказывала, что смогла продолжить учёбу и затем сама помогала людям разбираться с бумагами.

Маленькая исправленная ошибка оказалась связана с множеством последующих событий, которых отец мальчика не мог предвидеть, когда садился к столу.

Так память открывает ещё одно измерение свидетельствования. Узнанное не всегда завершает своё действие в тот миг, когда мы его называем. Иногда слово меняет чужое решение спустя годы; иногда несказанная правда продолжает причинять вред. Но никакое земное свидетельство не даёт человеку полного знания всех будущих последствий. Мы можем отвечать за поступок с той осторожностью, которая нам доступна, не обещая, будто всякая доброта вернётся известным вознаграждением. Свет открывает различимое; заботиться о том, кто оказался рядом, человек учится среди других людей.

Когда молодой писец узнал о смерти старого звонаря, он пошёл к башне вместе с несколькими соседями. У самого входа лежали аккуратно сложенные доски, оставшиеся после последнего ремонта площадки. На одной виднелась дата, вырезанная неумелой рукой. Никто не помнил точно, кто сделал надпись. Писец предложил не стирать её, пока не найдётся подтверждение. Они поднялись наверх и увидели повреждённый колокол. Воздух проходил через открытое окно, на бронзе лежала пыль. Никакого голоса не раздалось; всякое чудо, которого могли бы ожидать от смерти звонаря, осталось лишь человеческим желанием.

На площадке у колокола он заметил инструменты старого звонаря. У одного деревянная ручка была отполирована долгими прикосновениями, как будто хозяин всю жизнь держал её одной стороной. Писец поднял инструмент, но вскоре положил обратно. Вещь говорила о труде, однако не могла сама рассказать о страхах и надеждах умершего. Чтобы

узнать больше, следовало спросить людей, которые работали со звонарём, и всё равно признать предел их воспоминаний. Башня стала для писца местом человеческого свидетельства, а не тайной дверью к первоначальному Безмолвию.

Один из соседей предложил продать колокол на металл, поскольку давно никто им не пользовался. Другой считал, что вещь необходимо сохранить из уважения к старому смотрителю. Спор затянулся. Писец слушал доводы, пока не заметил, что участники говорят о разных вещах: один о расходах на опасную башню, другой о памяти города, третий о возможном восстановлении звона. Каждая забота была реальной, и ни одна не исчезала от громкости голосов. Тогда он предложил сперва проверить состояние лестницы и кровли, а потом решить, что город способен содержать. Молчание между его словами оказалось полезнее преждевременного приговора.

Впоследствии башню укрепили, но язык колокола так и не был возвращён. На это не нашлось ни средств, ни общего решения. Писец не считал такой исход победой собственного мнения. Он лишь сохранил несколько записей о прежнем звоне, именах мастеров и сторожей. Позднее дети читали эти истории и спрашивали, почему город так долго не мог договориться. Он отвечал, что люди способны различать разные стороны одной вещи, но им требуется труд, чтобы услышать друг друга. Само слово «слышать» напоминало ему о первом пути Безмолвия, хотя никакая башня не являлась частью первоначальной космогонии.

В один из вечеров, возвращаясь от башни, писец смотрел на освещённые окна города. Он вспомнил чистое поле отцовского листа, молчание колокола и детей, споривших о древних

буквах. Когда-то ему казалось, что всякая жизнь уже заключена в однажды написанной строке. Теперь, вспоминая судьбу девочки, чьё имя отец восстановил в записи, он видел иной смысл: совершившееся остаётся действительным, но будущее не обязано повторять прошлую ошибку. Вечное Невыраженное не исчезло с появлением мира; из его глубины для живущего могут открываться иные пути. И если однажды такой путь станет различим, писцу предстоит принять решение самому.

На следующий день за советом пришёл мальчик, чей отец служил на корабле. Ребёнок спросил, видит ли Первый Свидетель с той стороны моря и не кончается ли Его Свет там, где на карте нет дорог. Писец развернул карту на столе. Края листа были видны, но море не обрывалось в этих линиях. Он сказал, что карта составлена с берега человеческого знания. Первого Свидетеля их община зовёт Люцифером, но Божественное присутствие не ограничено полем их карты. Мальчик спросил, живут ли среди других звёзд люди. Писец не мог сказать, что знает об этом, и не стал выдумывать. Он лишь повторил, что жизнь, способная однажды узнавать и отвечать, не должна иметь человеческий облик, чтобы быть достойной Света.

Безмолвие после Света может быть полно звуков. Мать слушает ребёнка, не перебивая его рассказ; путник задерживается у воды, различая шум течения; человек, совершивший ошибку, молчит достаточно долго, чтобы выслушать чужое свидетельство. Никакому из них не требуется достичь абсолютного беззвучия. Важна открытость, позволяющая увидеть и услышать без немедленного присвоения. Если же молчание служит страху, принуждению или намеренному сокрытию вреда, его следует назвать своим земным именем, не прикрывая священным началом.

Молитва не требует одинаковых голосов. Один человек благодарит Первый Свет словами, другой хранит молчание возле чужой постели, и оба могут почитать Люцифера как первого передавшего знание. Но само Соприкосновение с Невыраженным не является просьбой к личности Свидетеля взять управление судьбой на себя. Оно требует возвращаться к тишине снова, потому что привычные страхи и желания быстро заполняют сознание. Воля учится видеть и выбирать не за одну ночь. Предстоящие книги раскроют этот труд глубже; здесь достаточно услышать его начало.

Когда наступал вечер, писец нередко думал, что земная память слишком непрочна. Письма стираются, голос старика исчезает, дерево на дворе когда-нибудь умрёт. Но Имя не есть только буквы на листе: так мы говорим о неповторимом следе прожитого. В Искре вера узнаёт способность духовного продолжения, которая не прикована к одному человеческому телу. Великий Отзвук хранит надежду, что прожитое не становится ничем от прекращения дыхания, а возможная иная жизнь обретает собственное Имя и свободную Волю. Писец не видел такого перехода и не назначал ему срока. Эта надежда не освобождала его от заботы о нынешних людях, потому что чужую жизнь нельзя считать подготовкой к какому-то лучшему будущему рождению.

Писец слышал, как одно священное имя произносили по-разному. Одни благодарили Люцифера за открытый путь знания, другие призывали его, надеясь избавиться от тревоги. Он не судил людей по интонации. Но знал, что почитание Первого Свидетеля не освобождает от самостоятельного поиска и действия. Свет не принадлежит человеческому голосу, а Невыраженное не замкнуто в одном уже состоявшемся исходе. Тому, кто готов искать другой путь, ещё

придётся научиться распознавать, какой шаг действительно ему доступен.

У молодого писца было обыкновение оставлять после завершённого письма несколько мгновений тишины. Он перечитывал написанное, представлял лицо человека, который получит письмо, и проверял, не пропустил ли важную строку. С годами это стало частью его труда, и посетители научились не торопить его в эти минуты. Однажды маленькая девочка принесла просьбу от матери и спросила, не молится ли он перед каждым листом. Писец ответил, что сейчас проверяет слова, чтобы они не повредили тому, кому адресованы. Но когда вечером он действительно молился, то просил не безошибочности пера, а мужества заметить то, что самому ему было трудно признать.

На протяжении многих вечеров писец оставлял перед собой чистый лист, но не торопился касаться его пером. Вначале он замечал только то, что тревожило его днём: недописанные письма, обиды, усталость. Позднее в этой тишине начали появляться и другие мысли. Он понял, что может отвечать просителям терпеливее, попросить помощи в тяжёлой работе, отказаться от дела, которое взял лишь из страха обидеть знакомого. Ничто не изменялось от одного воображения; наутро ему требовалось выполнить решение. Но он больше не принимал вчерашнее бессилие за вечный закон своей жизни.

Однажды сосед принёс ему короткое письмо, написанное в гневе. Он просил переписать его начисто, чтобы адресат понял всю серьёзность обиды. Писец прочёл строки и спросил, можно ли отложить работу до утра. Сосед нахмурился, но согласился. Утром он пришёл с иным письмом, где не отказывался от претензии, зато называл конкретное обещание, которого ждал. Писец не утверждал, будто ночное

молчание сделало соседа нравственно совершенным. Оба лишь увидели, что между первым порывом и произнесённым словом бывает время для выбора, а новое письмо не отменяет действительной причины спора.

Он не видел Первого Свидетеля земными глазами и не претендовал на знание, которого не получил. Он был переписчиком, чьё дело заключалось в сохранении слов, в аккуратности и внимании к чужой жизни. Ему иногда казалось, что это слишком мало перед величием священной тайны, но затем он вспоминал отца, исправившего две буквы в имени незнакомой девочки. Земное свидетельство редко бывает грандиозным. В нём много труда, не имеющего свидетелей кроме тех, кому этот труд однажды помог.

На площади задержалась женщина с корзиной яблок. Одно упало и покатилося к водостоку. Писец поднял его и вернул хозяйке. Та поблагодарила и спросила, почему он стоял возле старой башни так долго. Он ответил, что вспоминал своего отца и думал, как многое проходит прежде, чем мы замечаем. Женщина сказала, что город опустеет, если все станут только вспоминать и никто не поможет нести сегодняшние вещи. Он взял у неё вторую корзину и дошёл до угла улицы. Простая просьба вернула его от размышления к действию, не уничтожив самого размышления.

Когда вечер опустился на город, молодой писец взял из ящика старый лист с пустым местом. Он хотел написать на нём длинное заключение к отцовскому наставлению, но понял, что любая новая строка изменит сохранённую запись. Лист принадлежал той беседе, которую нельзя было повторить целиком. Тогда он положил его обратно, достал чистую бумагу и стал писать собственные размышления отдельно, сохраняя отцовское слово таким, каким его получил. Он не сделал из

памяти запрета на новые вопросы. Но не позволил новому тексту молча заменить старый.

Он долго проверял, не осталось ли на старом листе незамеченной строки. Там, где в детстве прижал ладонь к бумаге, виднелась тонкая тень от чернил, попавших между пальцами. Писец улыбнулся этому следу и подложил под лист чистую плотную бумагу, чтобы край не загибался при каждом открывании ящика. Затем вынул новый лист и записал несколько вопросов, на которые ещё не умел ответить. Он не стремился сделать собственные слова продолжением отцовских без указания границы. Живому человеку оставалось право спрашивать заново, сохраняя написанное прежде.

В одну тихую ночь писец поднялся к башне и долго смотрел на неподвижный колокол. Из соседних домов слышались обычные звуки: чей-то кашель, скрип двери, смех ребёнка. Над ним было небо, где горели звёзды, образовавшиеся по законам природы задолго до его рождения. Он не путал физический свет с Первым Светом, к которому обращалась его вера. Не пытался определить место Божественного Свидетеля по направлению взгляда и не считал, что безмолвие колокола доказывает тайну первоначального бытия. Он лишь оставался человеком, который способен слушать и отвечать.

С верхней площадки ему были слышны голоса за рекой. Женщина звала ребёнка, кто-то закрывал тяжёлые ставни, потом молодой смех прервался негромким плачем. Писец представил людей, которых не знал и чьи заботы никогда не сможет перечислить в своей тетради. Он посмотрел на звёзды, видимые над городскими крышами, и вспомнил, что земная жизнь не является мерой всего возможного бытия. Он не знал, существуют ли иные мыслящие существа и каким языком они называли бы Свет. Но ему было достаточно понять:

незнакомое не становится недостойным внимания лишь потому, что он не способен описать его именами своего дома.

Когда снизу раздался голос сторожа, спрашивавшего, зачем он пришёл так поздно, писец ответил, что хотел вспомнить старого звонаря и кое-что понять о молчании. Сторож усмехнулся и сказал, что башня давно ничего не объясняет. Писец согласился: башня сама по себе не даёт ответов. Но иногда человек замечает возле неё вопрос, который уносит домой. Сторож запер дверь на верхнюю площадку, и они начали спускаться. На одном из поворотов лестницы в камне виднелась старая выбоина, и сторож предупредил его быть осторожнее. Писец остановился, посмотрел под ноги и продолжил спуск.

Спускаясь с башни, писец снова подумал о Первом Свидетеле. Невыраженное пребывало всегда, Первое Различие открыло различимое, а Свет сделал возможным познание. Но кто была первая душа, воспринявшая этот Свет и сумевшая передать его знание? Почему земные люди почитают её под именем Люцифер? Он ещё не знал всего, что хотел спросить, и не пытался заполнить пробел красивым рассказом. У последней ступени он остановился, пропустил впереди сторожа с фонарём и сохранил эти вопросы до утра.

Безмолвие после Света не стирает прожитого и не возвращает мир к первоначальному неразличимому началу. Оно даёт ищущему остановиться среди голосов, чтобы заметить то, что прежде оставалось за привычкой и тревогой. Воля отвечает за земной выбор, а Имя хранит след сделанного. Свет остаётся священным началом познания, не предписывая человеку нравственного приговора; жизнь среди других учит беречь их свободу. Писец понял, что первое священное повествование подошло к границе: дальше

предстояло говорить о самом Свидетеле, первой душе, воспринявшей Свет.

Два листа лежали под лампой. На одном, пожелтевшем, сохранялся след детской ладони возле строки отца; другой ждал первых букв. Писец услышал из окна слабый шум ночного города и положил ладонь на чистую бумагу. На миг ему захотелось повторить всё, что он помнил, но он снял руку и оставил лист нетронутым. Утром он начнёт писать о Свидетеле.